

Духовная проза

Владислав Бахревский

АВВАКУМ



Духовная проза (Вече)

Владислав Бахревский

Аввакум

«ВЕЧЕ»

2010

Бахревский В. А.

Аввакум / В. А. Бахревский — «ВЕЧЕ», 2010 — (Духовная проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-7659-4

Роман «Аввакум» известного русского писателя Владислава Бахревского повествует об одной из знаковых фигур русской истории середины XVII века. Протопоп Аввакум – талантливый оратор и полемист, ревнитель «отеческой веры» и ярый противник никоновских церковных реформ, который чужд всяческих интриг и прямо отстаивает свои убеждения, однако в Москве, при царском дворе, свои порядки – там борются не за убеждения, а за власть. Если проповеди и призывы Аввакума созвучны тайным замыслам власть имущих, он может получить поддержку, а если нет – правдолюбцу уготован путь мученика. Роман «Аввакум» – это не только роман об одном человеке, но и панорамная картина русской жизни, детальная и яркая. Здесь показан и царь Алексей Михайлович со всем своим окружением, и его державные дела, в том числе войны со Швецией и Польшей, а также взаимоотношения с патриархом Никоном. Не случайно в 2011 году именно этот роман лег в основу сериала «Раскол».

ISBN 978-5-4484-7659-4

© Бахревский В. А., 2010

© ВЕЧЕ, 2010

Содержание

Глава первая	7
Глава вторая	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Владислав Анатольевич Бахревский

Аввакум

© Бахревский В.А., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Из Энциклопедического словаря

Изд. Брокгауза и Ефрона

Т. I, СПб., 1890

АВВАКУМ ПЕТРОВИЧ – протопоп г. Юрьевца-Поволжского, расколоучитель XVII ст., род. до 1610 г.¹

Происходивший из бедной семьи, довольно начитанный, угрюмого и строгого нрава, Аввакум приобрел известность довольно рано как ревнитель православия, занимавшийся изгнанием бесов. Строгий к самому себе, он беспощадно преследовал всякое беззаконие и отступление от церковных правил, вследствие чего около 1651 г. должен был бежать от возмущившейся паствы в Москву.

Здесь Аввакум, слышавший ученым и лично известный царю, участвовал при патриархе Иосифе (ум. 1652) в «книжном исправлении». Никон заменил прежних справщиков, для которых греческие подлинники были недоступны, людьми действительно учеными. Никон и его справщики завели те «новшества», которые и послужили первою причиною возникновения раскола.

Аввакум занял одно из первых мест в ряду ревнителей старины и был одной из первых жертв преследования, которому подверглись противники Никона. Уже в сентябре 1653 г. его бросили в тюрьму и стали увещевать, но безуспешно. Аввакум был сослан в Тобольск, затем 6 лет состоял при воеводе Афанасии Пашкове, посланном для завоевания «даурской земли», доходил до Нерчинска, до Шилки и до Амура, претерпевая не только все лишения тяжелого похода, но и жестокие преследования со стороны Пашкова, которого он обличал в разных неправдах.

Между тем Никон потерял всякое значение при дворе, и Аввакум возвращен был в Москву (1663). Первые месяцы возвращения его в Москву были временем большого личного торжества Аввакума; сам царь выказывал к нему необыкновенное расположение.

Вскоре, однако, убедились, что Аввакум не личный враг Никона, а противник господствующей церкви. Царь посоветовал ему через Родиона Стрешнева если уже не «соединиться», то по крайней мере молчать. Аввакум послушался, но ненадолго. Вскоре он еще сильнее прежнего стал укорять и ругать архиереев, хулить четырехконечный крест, исправление Символа веры, трехперстное сложение, партесное пение, отвергать возможность спасения по новоисправленным богослужебным книгам и послал даже челобитную царю, в которой просил низложения Никона и восстановления иосифовских обрядов.

В 1664 г. Аввакум сослан был в Мезень, где он пробыл полтора года, продолжая свою фанатическую проповедь, поддерживая своих приверженцев, разбросанных по всей России,

¹ По другим источникам, годы жизни протопопа Аввакума: 1620/21—1682.

окружными посланиями, в которых именовал себя «рабом и посланником Иисуса Христа», «протосингелом российской церкви».

В 1666 г. Аввакум привезен был в Москву, где его 13 мая после тщетных увещаний на соборе, собравшемся для суда над Никоном, расстригли и прокляли в Успенском соборе за обедней, в ответ на что Аввакум тут же возгласил анафему архиереям. И после этого не отказывались еще от мысли переубедить Аввакума, расстрижение которого было встречено большим неудовольствием и в народе, и во многих боярских домах, и даже при дворе, где у ходатайствовавшей за Аввакума царицы было в день расстрижения его «великое нестроение» с царем.

Вновь происходили увещания Аввакума уже пред лицом вост. патриархов в Чудове монастыре, но Аввакум твердо стоял на своем. Сообщников его в это время казнили. Аввакум был наказан кнутом и сослан в Пустозерск (1667). Ему даже не вырезали языка, как Лазарю и Епифанию, с которыми он и Никифор, протопоп симбирский, были сосланы в Пустозерск. 14 лет просидел Аввакум на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозерске, неустанно продолжая свою проповедь, рассылая грамоты и окружные послания. Наконец, дерзкое письмо его к царю Федору Алексеевичу, в котором он поносил царя Алексея Михайловича и ругал патриарха Иоакима, решило участь Аввакума и его товарищей.

1 апреля 1681 г. они были сожжены в Пустозерске. Раскольники считают Аввакума мучеником и имеют иконы его. В сфере раскола Аввакум действовал не только примером непреломности убеждения; он – и один из наиболее выдающихся расколоучителей.

Аввакуму приписывают 43 сочинения, из которых 37, в том числе и автобиография его («Житие»), напечатаны Н. Субботиным в «Материалах для истории раскола» (т. I и V). Вероятные взгляды Аввакума сводятся к отрицанию никоновских «новшеств», которые он ставил в связь с «римской блудней», т. е. с латинством. Кроме того, Аввакум в Св. Троице различал три сущности, или существа, что и дало первым обличителям раскола повод говорить об особой секте «аввакумовщины», которой на самом деле не было, так как взгляды Аввакума на Св. Троицу не были приняты раскольниками.

Памяти Владимира Ивановича Мальшева

Глава первая

1

В благороднейшем мафории цвета темной спелой вишни, на одном подоле звезд больше, чем на небе, в багряных чеботах, но рожа-то – прости, Господи! – мордастая, щеки потные, три подбородка – такой вот представил себе Аввакум византийскую императрицу Евдоксию²³, гонительницу святителя Иоанна Златоуста.

Ну а возле Никчемной вся ее послушная рать – Севериан Гавальский⁴, Феофан Александрийский и прочая, прочая сволочь.

У Аввакума слезы из глаз покатались.

– Ты что, батька? – изумилась да и перепугалась Анастасия Марковна.

Аввакум отложил книгу, утер ладонями слезы, вздохнул всей грудью, приохнув:

– Так, Марковна! Так!

– Книга, что ли, тебя разобидела?

– Нет, Марковна, не книга – жизнь. Жизнь, Марковна. Ох, жалко!

– Да кого?

– Людей хороших. Вот скажи ты мне, за что Евдоксия на Златоуста ополчилась? За какую неправду?

– Не знаю, батька! – Анастасия Марковна бросила чулок со спицами на сундук, покрестилась на иконы. – Не знаю.

– И знать нечего! Не было ее, неправды! – Аввакум вскочил на ноги. – За правду хорошие люди страдают. За одну матушку-правду! Всей вины святителя – вдову с детишками хотел защитить. Мужа ее, вельможу, Евдоксия кознями на тот свет спровадила и не насытилась. Без хлеба, без крова пожелала сирот оставить. Все они – багряноносцы – этакие! Живут мезью да лезью.

– Батька! – Брови у Анастасии Марковны тревожно вскинулись. – Уж не равняешь ли ты себя со святителем Иоанном?

– А вроде бы так и есть, Марковна! Чужую одежду на себя примерял... Эх, гордыня проклятушая – пожиратель людишек!

Снова взял книгу, поцеловал раскрытую страницу.

² ...такой вот представил себе Аввакум византийскую императрицу Евдоксию, гонительницу святителя Иоанна Златоуста. – Иоанн Златоуст (347–407) – святой, один из величайших отцов церкви, знаменитый аскет и проповедник, борец за права человеческой личности, и в особенности за бедняков. Архиепископ Константинопольский с 397 г. Его проповеди (известно их 804) сделали его чрезвычайно популярным, но восстановили против него влиятельные круги двора и высшего клира. В частности, императрица Евдоксия приняла за личное оскорбление обличения Златоустом роскоши и суетности константинопольских дам. Был созван собор из личных врагов Златоуста, который осудил его по самым мелочным и ложным обвинениям, и его отправили в заточение. Но едва успел он отбыть из Константинополя, как там случилось страшное землетрясение. Евдоксия увидела в этом знамение гнева небесного за гонения, которым она подвергла проповедника, и поторопилась возратить Златоуста с большими почестями. Вернувшись, он не переставал громить пороки общества, и вскоре последовало второе, и уже окончательное, изгнание его с архиепископской кафедры. В 404 г. он был сослан в г. Кукуз (в Армении), потом в Питуунд (Пицунду), но по пути туда скончался 14 сентября 407 г. В Византии и на Руси был идеалом проповедника и неустрашимого обличителя, в том числе для Аввакума. Память Иоанна Златоуста 27 и 30 января, а также и 13 ноября (ст. ст.).

³ Примечания см. в конце книги.

⁴ Севериан, епископ Гавальский (в Сирии) – один из известнейших проповедников IV в. Имел влияние на императрицу Евдоксию. Сам Иоанн Златоуст уважал его и во время своих отлучек передавал ему управление епархией. Однако Севериан стал интриговать против Иоанна, который, узнав про то, лишил его права проповеди в Константинополе и настаивал на его удалении. Однако интриги Севериана закончились удалением Иоанна. Неблаговидные действия Севериана против Иоанна Златоуста заставили забыть о его проповеднической деятельности, о которой в свое время с похвалой отзывались Сократ, Палладий и др.

– Знаю, велик грех, но сладостно, когда Бог за обиженного наказывает!.. Днем Златоуста осудили, а ночью дворец потрясен был гневом Господним. Вот уж побегала, чаю, Евдоксиюшка, бабища дурная! Вот уж побегала! А после второго суда над святителем – опустошение и огонь пожрали храм Святой Софии, а самой Евдоксии была смерть. Полгода всего и тешилась, несчастная, своим гневом. А коли про меня, про нас с тобою, Марковна, подумать, то у нас многое похоже на жизнь святителя Иоанна. Златоуст за вдову заступался, так и мы, гонимые Иродом Московским, тоже за вдову понесли наказание, ибо Церковь наша ныне воистину – вдовица.

И обрадовался:

– Вот об чем ныне в проповеди скажу... Не осуждаешь ли меня, Марковна? Воюю – я, а шишки поровну.

– Не отступайся, Петрович! Ни от Бога, ни от себя, – сказала жена. – Мы тебе в крепость даны, а не во искушение.

– Ну и слава Богу! – Аввакум улыбнулся, снял с деревянного гвоздя шубу, шапку. – Пойду погляжу, подметено ли в храме. Воевода на вечерню обещался с княгиней.

Снег был еще новый, еще жданный после осенних хлябей. Сам себе радовался!

Придерживая шапку, протопоп глядел на крест своей Вознесенской церкви.

Нежные, прозрачные облака уплывали на запад, и казалось, луковка с крестом, как корабль морской, летела по волнам, да все выше, выше.

– Вот уж воистину корабль!

И вдруг осенило: Тобольск тоже ведь похож на корабль. Подняв купола и кресты, город мчит по воде и по небу встреч великому свету нового пришествия.

– Поплывем во славу Божию, обходя мели и одолевая бури! – сказал Аввакум и поднял длань с двумя сложенными перстами, веруя в истину, любя и радуясь миру.

В праздники Иоанна Златоуста он всегда чувствовал в себе преображение. Он видел душу свою в строгих, прекрасных ризах, заранее приуроченных к торжеству. И хоть было то видение сомнительно, он не гнал его прочь, сверяя, равен ли он плотью духу своему, не простоволос ли перед Богом и людьми.

В храм Аввакум вошел легкий на ногу, с легким сердцем – и остолбенел. В правом углу, под иконою «Живносный источник», прелюбодей зело расстарался на прелюбодеице.

– Господи! – воскликнул протопоп, невольно попятившись.

Вскочили.

У мужика морда красная от позора, в пол глядит. А бабище хоть бы хны. Юбка спереди под душегрею закатана, портки бабы на полу лежат.

– Да как вы додумались в церкви грех творить?! – всплеснул руками Аввакум.

Баба продела валеночки в порты и, не торопясь, туда-сюда виляя задницей, натягивала потайную – не на погляд же ведь! – одежонку.

– Не осужай! – А сама протопопу в глаза глядит, губы алые, зубы ровные, как снег блестят.

– Не осужаю, а не потакаю! – сказал Аввакум, отворачиваясь от бабы, вполне смутясь ее бесстыдством.

Мужик засуетился, в пояс стал кланяться и до земли:

– Прости Господа ради, протопоп! Сатана попутал! Я и не хотел в церкви, Бога боялся. Подружка моя больно смела.

Аввакум молчал, не умея взять в толк сие немислимое разгульятство.

– Смилуйся! – снова кланялся и кланялся мужик. – Баба ведь хуже вина, коли пригубил, не остановишься.

– Да ведь праздник нынче большой – Иоанна Златоуста, – с укоризной сказал Аввакум, – а вы прелюбодействуете.

– Ну, заверещал! – засмеялась баба, все еще стоя заголясь – веревки на портках подвязывала. – Напраслину, протопоп, на нас наводишь. Ишь небылицу затеял – прелюбодеи. Он – брат мне. А в церкви мы Богу молились.

– Враг Божий! – Аввакум аж ногою топнул. – Да ты вон веревку все еще на портках не подвязала. Сами вещи тебя обличают.

Баба затянула на шнуре бантик, подняла руки, и юбка наконец закрыла все ее прелести.

– Да где ж они, вещи твои, протопоп! Ку-ку! – И захохотала.

В ярости Аввакум выскочил из церкви, крикнул церковного служку и вместе с прибывшим псаломщиком и отцом дьяконом отвел прелюбодеев в Воеводский приказ.

Повеселил протопоп приказную строку. Всяк пришел поглазеть на горемыку-любownika. Возле него толпились, а глазами-то жрущими – на бабу. Лицом чистая, светлая, в глазах загадочка с усмешечкой. Сиськи и под шубой стоймя стоят. Высокая, стройная. С такой не согрешить – превеликая оплошка. Сидела баба на лавке свободно, товаром своим не похваляясь, но цену ему зная.

Сняли с любодея порты, смеясь, стегнули пяток раз.

Отпускали мужичка с напутствием:

– Поделом тебе! Ишь, день с ночью попутал.

– Ты шишку-то еловую кушаком прихватывай. Опять до шлепов доведет.

– Эх! – молодецки почесывали в затылке. – Ради таких баб любые шлепы потерпеть можно.

– Не хочешь быть битым – делись. Иная сучка краше денег.

Аввакум про то веселие не ведал. Сидел у приказчика Григория Черткова, товарища по должности Ивана Струны. А дьячок Антон, глядевший на казнь прелюбодея, не стерпел игривых слов приказных ярыжек:

– Кобель на кобеле, ржут по-лошадиному! Распустил вас Иван Струна, потому как и сам кобель. Ни одной сучки не пропустит... Стыда у вас нет! На бабу, как на пряник, облизываются.

Злость отца дьякона только пуще развеселила. А тут и Аввакум явился от Черткова весьма смущенный – гулящую бабу отдали ему под начало.

2

Злоба – работница стоухая, стоглазая. Сна не знает, устали не ведает. Ей хоть потоп, хоть пожар – не оставит своего дела. Да не то страшно! Страшно, что ей, тихоне, ничто человеческое не чуждо. В горе – горюет, в радости – радуется, а ножик-то наготове. И ведь как памятьлива!

Иван Струна в отлучке был. Через неделю только приехал, и тотчас ему доложили: дьякон Вознесенской церкви Антон называл его, почтенного приказного дьяка, кобелем и бесчестил, говоря, что он-де, Иван Струна, ни одной сучки не пропустит и на всякую бабу облизывается, как на пряник.

– Да я бороду ему с морды на зад вихлястый перетяну! – заскрипел зубами Иван Струна.

Шептуну и то страшно стало: представил себе дьякона Антона с бородой не на своем месте.

Однако гнев этот, полыхнувший молнией по Тобольску, случился через неделю, а пока город судачил об Аввакуме, взявшемся за душеспасение красавицы блудницы.

Аввакум посадил ее в погреб, где стояли квашения. Погреб был сухой, но зело холодный.

Баба со зла матерщинничала, разговаривать по-хорошему не хотела. Протопоп велел узнать, как ее зовут, и первый же зевака из толкавшихся вокруг дома сказал: Гликерия.

Аввакум начал исправлять заблудшую рассказом жития святой Гликерии.

– Да ведомо будет тебе, дурища, – говорил протопоп, сидя возле чуть сдвинутой крышки подпола, – наречена ты, матушка моя, именем, кое носила женщина высокого рода. Отец святой

Гликерии служил градоначальником Рима, сиречь ближний боярин был. Впоследствии же он переселился во Фракию, в Троянополь, где и скончался.

– Мели, Емеля! – орала из подполья Гликерия Тобольская.

Аввакум прерывал рассказ, молился, читал Писание. Гликерии ругаться без толку надоело. И как только она умолкла, протопоп упрямо продолжил прерванную историю:

– Защитница твоя Гликерия, ставши христианкой, решила пострадать за Христа. В день сатанинского поклонения идолу Зевсу явилась она в капище, начертав на лице своем знамение креста. Подумаю про то – слезы сами собой катятся. Стоит она, милая, одна среди сонмища язычников, Бога хвалит, а о язычниках плачет. По ее молению ахнуло громом по идолищу. Зело велик был, а развалился на куски, как горшок какой! Правитель города и жрецы от ярости зафыркали по-кошачьи, за каменья схватились. Всяк небось в том городе хоть раз, да пульнул в святую. Но ни единый камень не поразил ее. Тогда уж что? У всех властей одно лекарство – выпороть да в темницу, но и тут незадача. Палачи подступили к Гликерии – и россыпью от нее, как мыши. Ужасом Господним разметаны были, явился на защиту святой девы сам Ангел... Ну да в покое, однако ж, не оставили. Правитель на ночь-то сам запер милую в темнице, своим перстнем наложил на замки печати.

– Закрой подпол! – завопила вдруг Гликерия Тобольская. – Свечами от тебя, протопоп, несет! Тьфу!

Аввакум, распаясь рассказом и думая, что блудница его заслушалась, обиделся, умолк.

– Бес с тобой! Послухаю! – смилостивилась неистовая сиделица, и Аввакум, водрузив на себя, как горб, пастырское смирение, тотчас продолжил рассказ:

– Может, с месяц голодом бедную морили. Когда же правитель собственноручно отворил запоры, то увидел – Гликерия жива, здорова, весела, ибо воду и пищу ей носил Ангел. Правитель пофыркал-пофыркал, да и отправил святую деву в Ираклию. Там долго не думали – ввергли в огненную печь. Но что верующему огонь? В ножки белые поклонился деве, да и погас. Опять палачам работа – содрали с головы святой кожу и нагую бросили на острые камни. Нам, маловерам, и толики испытаний Гликерииных не пережить, а святая терпела да молилась. И снова явился к ней Ангел, исцелил и красоту не токмо вернул, но и утроил.

– Так ничего ей и не сделалось? – спросили из подпола.

– Ох, милая! Палачи, как сатана, устали не знают. Отдали святую на съедение диким зверям. Первая львица ножки ей языком вылизала, но палачи не умилились. Тогда Гликерия помолилась Богу, чтоб взял Он ее душу на небо. Тут и выпустили на нее еще одну львицу. Исполняя Промысел Божий, львица убила святую, но чтоб разорвать – ни!

– Чего же от нее хотели-то, от тезки моей? – спросила Гликерия.

– Хотели, чтоб идолам поклонилась.

– Ну и поклонилась бы!

– Ох ты Господи! – простонал Аввакум. – Будешь сидеть, пока сердцем не прозреешь, вражды твои уста, сосуд похоти, бесово утешение!

А баба хохотать – допекла протопопа!

Дури ей хватило на три дня.

Одна в дому оставаться Анастасия Марковна побаивалась, соседки к ней приходили, сиживали с рукодельем до обеда, до прихода Аввакума.

Сына Ивана, старшого, гулять выпроваживали. Агриппина с Корнилкой играла, чтоб не напугался. Прокопка сидел, прижавшись к материнским ногам, резал из деревяшек крестики.

А из подполья весь день напролет без устали неслась саженная брань, да такая, что и мужикам ругательским этакое на язык и во сне не навернется.

Марина, бедняжка, от печи не отходила, рогачами да чугунами грохала, но перегрохать подпольную грозу все же не умела и потому повязалась двумя платками, чтоб хоть не всякое поганое слово слышать.

Ночью тоже покоя не было. Протопоп по привычке встанет на молитву, а Гликерия услышит его, да и опять за матюги. Только на одной воде, без хлеба, долго не покричишь. Бочки с грибами, капустой, огурцами – рядом, да цепь не пускает.

3

Примолкла Гликерия.

На четвертый день в ужин зарыдала, взмолилась прежалобно:

– Виновата, Петрович! Согрешила перед Богом и перед тобою! Прости меня, грешную! Наука твоя мне надолго.

Аввакум возрадовался, слыша раскаянье, и тотчас велел пономарю вынуть блудницу из погребца.

Вышла бледна, тиха – человек человеком.

– Хочешь ли вина и пива? – спросил ее протопоп, переиначив слова наставительной «Повести о целомудренной вдове».

– Нет, государь! – прошептала Гликерия. – Дай, пожалуйста, кусочек хлебца.

Аввакум еще пуще возрадовался:

– Разумей, чадо! Похотение блудное, пища богатая, питье хмельное рождают в человеке и ума недостаток, и к Богу преозорство да бесстрашие. Наедшись и напився пьяна – скачешь, яко юница, быков желаешь и, яко кошка, котов ищешь, смерть забывше.

Дал ей свои четки, велел поклоны перед Богом класть. Сам рядом на правиле. За нее же, бедную, и молится.

Гликерия стучит лбом об пол, а глаза-то у нее, как у птицы пойманной, закатываются. Кланялась, кланялась, да и – хоп!

– Силенок нет?! – взъярился Аввакум. – На блуд и мятеж – здорова, а как на молитву – так разлеглась коровой! Пономарь! Шлепов ей!

Пономарь протопопа как огня боялся. Шлепов так шлепов! Не так что сделаешь – отдубасит! На руку протопоп скор, хоть и отходчив.

Колошматил бабу с пристрастием. Да при детях. Не вынес Прокопка чужой боли, заплакал. Тоненько, как сверчок. А у батки Аввакума у самого слезы на глазах: жалко ему глупую бабу, но ведь не поучи ее – назавтра все забудет.

Поучил, маслом помазал, да и за стол вместе с собой усадил. Ради нее второй раз ужинал. И снова в подполье.

Наутро, однако, отпустил с миром.

Ушла, лицом посветлев и душою.

Протопоп сильно был доволен.

4

Тут как раз еще один учитель сыскался.

По простоте сибирской поучить дьякона Антона обиженный им Иван Струна явился, много не думая, в церковь, во время службы.

Шла вечерня. Народу было не много, день постный, особыми подвигами в святцах не отмеченный.

Вдруг входные двери бухнули, и в клубах белого, особо строгого в тот вечер мороза явилась ватага.

Аввакум как раз из Царских врат выходил. Но и до Царских врат, побивая ладан, докаатило перегаром.

Иван Струна скакнул на клирос, дьякона Антона за бороду – и на кулак мотать.

Протопоп как глянул на бесчестье, творящееся в доме Господнем, так и возревновал душою. Словно облак встал дыбом на святотатство.

Поднял Евангелие над головой, да и пошел на нечестивцев:

– Отлучу!

Прочь побежали, по-бараньи, дурным скопом. Затворил Аввакум дверь на засов да на замок – и ключ за пазуху. С Ивана Струны вся смелость и сошла вдруг. Бросил Антона и туда-сюда по церкви бегают, а в церкви ни своих, ни чужих.

Схватил Аввакум нечестивца и чуёт – силенка-то в Иване жиденькая. Взяли они с Антоном церковного мятежника под руки, усадили посреди храма, и ремнем, снятым с Ивановых же порток, учил Аввакум Струну собственноручно.

Постегал, а потом и обнял. К покаянию привел.

Дрожал Струна как осиновый лист, всплакнул, запальчивость свою кляня.

С тем и отпустил его Аввакум из церкви.

Отслужив вечерню, домой шел, опираясь на архиерейский богатый посох, даренный княгиней. Ночь была и темна и морозна, а на душе протопопа и свет и тепло. Экий ведь лютый зверь Иван Струна, у него и душа-то чудится лохматой, а поди ж ты, словом Божьим – повержен и укрощен.

Домой пришел Аввакум довольный.

Анастасию Марковну в ушко поцеловал.

Прокопку на колени посадил. Весело поглядывая на домочадцев, сказал о Марине, хлопотавшей у печи:

– Ишь, какая справная работница у нас выросла. Замуж пора!

– Ой! – вспыхнула Марина. – Чуть, дядюшка, из-за тебя чугун не уронила.

– Так ведь не уронила же! – засмеялся Аввакум. – Значит, и впрямь пора!.. Не тороплю и никого тебе не навязываю. Однако ж приданое помаленьку готовьте и о женихе думайте... Нынче я в Тобольске человек сильный. Протопоп! А завтра как Бог пошлет.

– Ох, Петрович! – призадумалась Анастасия Марковна. – За сибиряка выдашь, так уж не бывать девушке на родимой стороне.

– А чем же сибиряки не хороши? – удивился Аввакум. – Поглядите, какие дома ставят. В России не у каждого дворянина такие хоромы. Надежный дом – надежная жизнь. В Россию же путь никому не заказан.

Марина поставила на стол горшок со щами и горшок с кашей, чтоб остыла, пока хлебают.

– Грибков достань, – попросил Аввакум, – пристрастился я что-то к грибкам здешним. На наши, волжские, похожи.

Встали на молитву.

И тут на улице под самым окном зафыркали лошади, заскрипел снег. Дверь грохнула под ударами.

– Отворяй, протопопишка! Смерть твоя пришла!

Аввакум кинулся к печи, схватил топор:

– Кто?!

– Не узнал?! Сейчас узнаешь!

Это был мохнатенький голос Ивана Струны.

– Отворяй! Хуже будет! – орали с улицы. – Одного тебя утопим в проруби! Не отворишь добром – и кутят твоих туда же!

Домочадцы, оттеснив Аввакума, кинулись загораживать дверь в сенях, потом, навязав полотенца на рогаши, прикрутили дверь в горницу.

Детей одели, отправили в подпол.

Аввакум зажег лампаду, стал под иконы. Молился, кланялся, Анастасия Марковна молилась рядом.

Вдруг зазвонили в колокол.
Бом-бом-бом!
На улице заматюгались, забегали, зафыркали лошади – и все затихло.
– Убралась, – сказала Анастасия Марковна, – не оставил нас Господь!
Аввакум сел на лавку, согнулся.
– Как овца был Иван, когда давеча каялся. А под шкурою овечьей – волк сидел. А может, зря грешу на Ивана. Сродники на мятеж подбили.
– Господи, опять нажили болезнь! – Слезы стояли в глазах Анастасии Марковны.
– Нажили, Марковна. Скорей бы уж архиепископ приезжал. Воевода Хилков здешних людей как огня боится. При нем режь человека – зажмурится и мимо пройдет.

5

Ох, Сибирь, Сибирь!
Не в лесу дремучем, не в поле – в большом городе, не зайца – человека денно и ночью травили на виду всего благополучного христианского люда. Ну, был бы мятежник, неслух, тать или сволочь какая пропойная – а тут пастырь, протопоп!
И смех и грех! Служить Аввакуму приходилось с запертыми дверьми. Прихожан впустит – и дверь на замок. А на паперти – гончая свора с дубьем.
Служба кончится – прихожане выкатят из церкви толпой, озорников по сторонам, и тогда уж Аввакум с причтом⁵ из храма выметываются. Когда бочком, когда трусцой, а то и рысью.
Спасибо, Матвей Ломков за него стоял. Человек силы грозной, немереной. При Матвее дружина Ивана Струны если и наскакивала на Аввакума, так только для виду. Поскачут, полают, как псы, и отстанут.
Каждую ночь – война. Приступом идут.
Анастасия Марковна с детьми в монастыре укрылась, а бедному протопопу, чтоб беду от гнезда отвести, по всему Тобольску пришлось бегать.
На вторую неделю гоньбы к воеводе Хилкову залетел в дом. Как воробей от коршуна.
Князь Василий Иванович при виде Аввакума от страха затрясся:
– Батяка Петрович! Ей-богу, не спасу тебя, коли придут! Иван Струна с Бекетовым в дружбе. Они ж, как из похода вернутся, хуже цепных кобелей. Скажи слово им поперек – разорвут.
– Делать-то мне что?! – зашумел на Хилкова Аввакум. – Моя жизнь, чай, тоже жизнь! На то ты и воевода, чтоб мятежи укрощать, стоять силой за людей добрых.
– Где она, моя сила? Куда я тебя спрячу?
– Да хоть в тюрьму запри!
– А надежна ли тюрьма перед Струной?
И заплакал:
– Господи, когда ж ты меня из Сибири вызволишь?
Слезами залился коровьими. А тут наподначку стрелец прибежал и в штанах принес:
– Толпой ходят! Ищут батьку!
– Ах ты, Господи! – закричал князь по-заячьи. – Навел ты на мой дом, Петрович, беду!.. Неужто иного места для спасения нет в Тобольске? Все ко мне бегут!
С перепугу, может, и выставил бы протопопа Ивану Струне на растерзание. Княгине спасибо. Взяла Аввакума на свою половину, да еще и посмеивается:
– У меня не найдут – не кручинься. Коли нагрянут, полезай в сундук, а я, батюшка, над тобой сяду. Меня-то за боки взять, чай, духу у них не хватит.

⁵ *Причит* – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви, как священнослужителей, так и церковнослужителей.

Вовремя княгиня беглеца к себе взяла. Зашумели на крыльце, сильно зашумели. Пришлось протопопу отправиться в сундук с поспешанием.

6

Всласть покуражился Иван Струна и над протопопом, и над всем Тобольском. Словно в темный пузырь поместили город, и пузырь этот день ото дня раздувался, перемарывая в своем мерзком нутре всякое белое на черное. Казалось, продыху никому и никогда уже не будет.

Но вот 14 декабря 1655 года вернулся из Москвы архиепископ Симеон. Вся тьма тотчас улетучилась, и могущественный, всевластный Иван Струна, преобразясь в бедную овечку, держал перед архиепископом ответ, отнекиваясь, божась и скорбя о напраслине, какую возводили на него, агнца, недобрые люди-волки.

Мудрый Симеон взялся судить Струну не за Аввакума – ссыльного протопопа, а за беззаконие и произвол по делу одного богатого мужика. Мужик этот насильничал дочку, о чем жена его подала челобитную в съезжую избу. Челобитную-то подала, да без приправы, а мужик, не будь дураком, одною приправой обошелся. Видно, кус был весьма жирный. Иван Струна насильника оправдал, а жену его и дочку подверг битью без пощады и выдал мужику с головою. Дочь в первый же день по приезде архиепископа ударила челом на отца. Мужика взяли под белы руки, привели на очную ставку с дочерью, и тот повинился перед нею и перед Богом.

Еще солнышко за лес не опустилось, а Иван Струна уже сидел в хлебне на железной цепи, аки пес.

В ту ночь впервые за месяц ночевал Аввакум под одной крышей со своими домочадцами.

– Чего только не возжелаешь по дури, бесом разжигаемый, – сказал Аввакум любезной своей Анастасии Марковне. – Нет большей радости, чем быть здоровым и вместе с родными людьми... Бедные те, кто не уразумел этой всевышней благодати. Ей-богу, бедные!

Анастасия Марковна тихонько вздохнула и прижукнулась к мужнему плечу:

– Воистину так, Аввакумушка.

Тут и Аввакум вздохнул, но иной это был вздох – заклокотали в груди протопопа старые его обиды.

– Нас, меньших людишек, Бог быстро на ум наводит. А вот жеребцу Никону все нипочем⁶, наука Божия мимо ушей его пролетает, словно ухи-то у него шерстью заросли. Владыко Симеон сказывал: половина Москвы будто косою выкошена...

– А братья-то твои, братья! – вскрикнула Анастасия Марковна, берясь за сердце.

– О братьях вестей нет. Владыко раньше мора из Москвы выехал...

Анастасия Марковна напуганно молчала.

– Сбылось пророчество батьки Неронова!⁷ – сказал Аввакум в сердцах. – Царьку нашему тот мор как фига под нос. Чтоб прочихался да опамятовался. Вон она – дружба с Никоном. Сами окаянные и всех россиян окаянностью своей заразили.

⁶ ...А вот жеребцу Никону все нипочем... – Никон (в миру Никита Минин; 1605–1681) – шестой патриарх Московский с 1652 г. С 1653 г. начал проводить церковные реформы, вызвавшие раскол. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше царства» вызвало его разрыв с царем. В 1658 г. Никон оставил патриаршество. Созванный для решения этого вопроса собор 1660 г. постановил избрать нового патриарха, а Никона приговорить к лишению архиерейства и священства. Однако дело осталось в неопределенном положении. В 1666 г. собор, на который съехались восточные патриархи, признал Никона виновным в произнесении хулы на царя и на всю русскую церковь, приговорил к лишению святительского сана и к ссылке в Белозерский Ферапонтов монастырь. После смерти царя Алексея Михайловича наследовавший престол Федор Алексеевич, несмотря на сопротивление патриарха Иоакима, решился перевести Никона в Новоиерусалимский Воскресенский монастырь и ходатайствовал перед восточными патриархами о восстановлении его в патриаршем достоинстве. Однако разрешительная грамота уже не застала Никона в живых. Он скончался в пути, в Ярославле, 17 августа 1681 г. и был погребен в Воскресенском монастыре как патриарх.

⁷ *Неронов Иоанн* (Иван, в монашестве Григорий; 1591–1670) – один из вождей раскола, учитель и друг Аввакума. Член «кружка ревнителей благочестия», который при патриархе Иосифе держал в своих руках все церковное управление. Был клю-

– Опомнись! Братья ведь у тебя в Москве.
– В Москве! – Горечь обожгла горло. – Не знаешь теперь, за здравие их поминать или за упокой.

Да так и сел в постели.

– Марковна!

– Ты что?

– А ведь Бог гонимым – и нам с тобой, и Неронову, и Павлу Коломенскому...⁸ всем, всем отлученным от Москвы – жизнь даровал! Вот он – Промысел Божий! Гонение обернулось жизнью и славой, а слава – смертью и забвением.

Как был, в исподнем, пошел под иконы, и Анастасия Марковна за ним.

7

В тот поздний час Иван Струна, простоволосый, в одной рубаше, колотил окостенелыми на морозе кулаками в ворота дома Петра Бекетова. Монах, купленный за ефимок, снял со Струны цепь и вывел из хлебни. Вот только одежды никакой добыть не смог.

– Околею! Околею! – орал Иван, уже горько сожалея о побеге: мороз был лют, да с ветром. – Слово и дело! Слово и дело!

Губы от холода трескались, кровоточили. Иван проклял себя, что не кинулся сразу домой: побоялся, далеко. Потому и ломился к Бекетову – человеку служилому, боярскому сыну⁹ – надеялся на могущество завораживающей Россию фразы: «Слово и дело!»¹⁰

– Ги-и-и! Ги-и-и! – в страшной смертной тоске завыл Струна.

Наконец проснулись.

Засопели тяжелые запоры, отворились двери.

– Кто?!

– Слово и дело! – давясь морозным кляпом, прокаркал Иван, уже не чуя ни ног, ни рук, ни самого себя.

Его втащили в дом, оттерли снегом. Напоили водкой, дали меду.

Петр Бекетов, быстрый, злой, прибежал в переднюю, где хлопотали над доносчиком, в исподниках, в ночной рубаше до пят.

– Кто?! С чем?! Противу кого?!

чаем в Успенском соборе, а с 1649 г. – протопопом в Казанском соборе. Влияние патриарха Филарета, Стефана Вонифатьева и других убежденных грекофилов создало у Неронова уважение к Восточной церкви и удержало его от пути, по которому пошли Аввакум и др. Тем не менее он был противником Никоновых реформ, и в 1653 г. его отправили в ссылку. В 1656 г. он принял монашество под именем Григорий. В том же году на соборе был подвергнут отлучению и лишению сана, однако отлучение удалось отменить. Позже, услышав, что восточные патриархи одобряют исправления богослужебных книг (что порицал Неронов), он принял все реформы и покаялся. В 1657 г. помирился с Никоном, но остался прежним. В 1664 г. снова был судим на соборе за пропаганду раскола и сослан в Волоколамский монастырь. В 1667 г. вторично отрекся и в 1669 г. был назначен архимандритом Переяславль-Залесского Даниловского монастыря.

⁸ *Павел Коломенский* – епископ Коломенский, единственный из иерархов русской церкви, принявший во время раскола сторону старообрядцев. С самого начала реформ Никона относился к ним враждебно. Был близок к Неронову. Свою приверженность к старине открыто выразил на соборе 1654 г., настаивая, чтобы церковные книги были оставлены в прежнем виде. Хотя и подписался под постановлением собора относительно исправления книг, но сделал оговорку, в которой отрицал возможность и надобность изменения правил о поклонах. Патриарх лишил его епископской кафедры и сослал в заключение. Последние обстоятельства его жизни неизвестны. По словам Лазаря Баранова, Павел сошел с ума. По рассказам старообрядцев, Никон сослал его в Новгородский Хутынский монастырь, где игумен его мучил, а затем он был убит подосланными Никоном людьми. По словам протопопа Аввакума, Павел был сожжен.

⁹ *Боярский сын* – одно из дворянских сословий служилых людей.

¹⁰ ...надеялся на могущество завораживающей Россию фразы: «Слово и дело!» – Сказать «Слово и дело!» или «Слово и дело государево!» означало в России конца XVI – начала XVIII в. изъяснить готовность донести о преступлениях или делах государственной важности.

– Протопоп Аввакум святейшего патриарха Никона называл антихристом, а великого государя – пособником антихриста! – закричал Струна, падая перед Бекетовым на колени.

– Дайте ему... тулуп! Пусть ночует! – распорядился Бекетов. – А теперь спать! Всем спать! На то она и ночь, чтобы спать!

И убежал, страшно сердитый, позевывая, поддегивая спадающие исподники.

Допрос Ивану был, однако, учинен до зари. Петр Бекетов, измеривший сибирскую землю своими ногами, основавший дюжину острожков, приведший под царскую руку множество инородцев, дела решал скоро, без оглядки на чины и титулы.

– За что Аввакума из Москвы выставили? – спросил Струну.

– Против воли царевой да патриаршей сам стоял и людей подбивал.

Бекетов сложил пальцы щепотью, потом выставил два пальца, покачал головой.

– Щепотью вроде удобнее... Но то не нашего ума дело! Как царь велит, то и есть истина.

– Вот и я говорю.

– Тебя не спрашивают. За что на цепь посадили?

– По наговору.

– Не пустобрешествуй! – прикрикнул Бекетов.

– Мужик девку, дочь, насильничал, а я, дескать, взял с него мзду и судил неправо.

– Чист и свят?

– Вот те истинный крест!

– На дыбу! – приказал Бекетов.

Струна завопил, замахал руками:

– Грешен! Грешен! Брал! Всего-то полтину!

– Ну, брал так и брал! А на протопопа не клеветешь?

– Истинный крест! Дня не бывает, чтоб Аввакум патриарха в церкви не срамил. Про то всякий человек в Тобольске знает.

– А я тебе не человек? На дыбу! – приказал Бекетов.

Похрустели косточки Ивановы на «колесе правды».

Однако ж не переменил извета. А коли не переменил, выдюжил пытку, то отныне от царских слуг ему защита и крепость.

В тот же день донос на протопопа Аввакума отправился в дальний путь, через леса и доли, через горы и реки в белокаменную Москву.

8

Еще головешки дымились на сожженных чумных пепелищах, а Москва уже позабыла день вчерашний и праздновала! Столице праздник к лицу.

Принимала Москва гостя желанного и высокого – патриарха великого древнего града Антиохии и стран Киликии, Иверии, Сирии, Аравии и всего Востока кир Макария.

Первое торжество совершалось 12 февраля 1655 года.

День этот для великой радости был весьма пригож. На святом Афоне 12 февраля праздник Иверской иконы Божией Матери, называемой «Вратарницею», ибо икона эта своей святой волей обрела место над воротами монастыря, возвестив через инока Гавриила, что не хранимой желает быть, но Хранительницей.

Иверская икона в Москве почитаема, а у патриарха Никона к ней великая любовь и радение.

В этот же день очень кстати святцы поминают архиепископа Антиохийского Мелетия. Антиохийский святитель крестил и растил Иоанна Златоуста, рукополагал во диаконы святителя Василия Великого, удостоился благодати быть председателем Второго Вселенского собора.

У царя Алексея Михайловича¹¹ тоже своя причина для торжества: 12 февраля надежда и радость, царевич Алексей, – именинник.

На приеме государь оказал антиохийскому патриарху чрезвычайный почет и милость, каких прежде не удостоивался от московского царя ни светский человек, ни духовный. Царь, сойдя с трона, поклонился Макарию до земли. Поклон этот Москва отдавала не только восточному патриарху, но всей древней чтимой земле Востока: куда ни ступи, куда ни поворотись – предание и святое место.

К патриаршим подаркам Алексей Михайлович проявил радостный интерес и трепетную почтительность. Сначала принесли иконы. Очень и очень старого письма, а потому и бесценные. Икон было две: Христос с двенадцатью учениками и образ апостола Петра.

Остальные подарки приносили на серебряных блюдах. Алексей Михайлович каждое блюдо целовал, рассматривал подарок и называл для писцов, которые тотчас записывали его в особую книгу. Подарено было: ларец слоновой кости с частицей Крестного Древа, того самого Древа, на котором был распят Иисус Христос. Оно тонуло в воде, на огне раскалялось, а потом приобретало прежний вид. Купил эту реликвию антиохийский патриарх на константинопольском базаре, там же был приобретен, а теперь подарен государю камень с Голгофы, на котором сохранились капли крови Иисуса. От времени и по великой святости камень стал серебряным, а капли крови на нем – золотыми.

Царице Макарий поднес часть покрывала с головы Анастасии-мученицы, царевичу Алексею – перст Алексея, человека Божия, и его волосы в серебряном сосуде.

Одно блюдо следовало за другим: иерусалимские свечи, миро, ладан, благовонное иерусалимское мыло, пальмовая ветвь, ангорские шерстяные материи, дорогие платки, шитые золотом...

О ладане, манне и фисташках Алексей Михайлович спросил Макария. Фисташки понюхал.

– Какая это благословенная страна Антиохия, что растут в ней подобные плоды!

А Макарию было стыдно за бедность своих подарков, и он сказал царю:

– Не взыщи с нас, государь! Страна наша очень далека, и уже три года, как мы выехали из нашего престола. Твое царство велико: прими это малое за большое.

Алексей Михайлович растрогался и сердечно расхваливал подарки, которые ему очень нравились, и продолжил свои расспросы о самовозгорающихся иерусалимских свечах, о миро, из каких составов его варят на святом Востоке, о том, как выглядит Голгофа.

Макарий, отвечая на вопросы, говорил очень медленно, с трудом находя греческие слова.

– Почему патриарх не говорит быстро? – спросил царь толмача с тревогой.

– Патриарх недавно стал обучаться греческому языку, арабского же никто из твоих государевых драгоманов¹² не знает.

Алексей Михайлович слегка нахмурился, и Макарий, уловив это, что-то торопливо сказал толмачу на ином языке.

– Патриарх знает по-турецки, – перевел толмач. – Если тебе угодно, государь, его блаженство будет говорить быстро на турецком языке.

– Нет! – воскликнул Алексей Михайлович. – Боже сохрани, чтоб такой святой муж оквернил уста и язык этой нечистой речью.

¹¹ У царя Алексея Михайловича... – Алексей Михайлович Романов (1629–1676), русский царь с 1645 г. При нем началось превращение сословно-представительной монархии в абсолютную: уменьшение роли Боярской думы, постепенное отмирание Земских соборов и т. д. В отличие от своего отца – Михаила Федоровича Романова – принимал большое участие в управлении государством. Был образованным для своего времени человеком. Вел активную внешнюю политику, в результате которой значение Русского государства сильно возросло. Был дважды женат: на Марии Ильиничне Милославской (1648) и на Наталье Кирилловне Нарышкиной (1671). От первого брака родились будущие цари Федор и Иван и царевна Софья. От второго – Петр I.

¹² Драгоман – переводчик восточных языков при послах, консулах и проч.

По окончании приема царь подарил Макарию саккос¹³ и, в знак особого расположения, разрешил тотчас, а не через три дня, как заведено, посетить патриарха Никона.

9

Восточному ли человеку удивляться пышности владык? Но удивлялись!

Патриаршее место богатством, величием и благородством не только не уступало, но, пожалуй, и превосходило царское. Да и сами ризы московского патриарха великолепием затмевали ризы владык, коих Макарий повидал на своем веку.

На красных бархатных скрижалях херувимы были шиты золотом и жемчугом. Но каков это был жемчуг! Всякая жемчужина – десять лет безбедной жизни простому человеку. Белый клобук¹⁴ с куполом из чистого золота, крестом из жемчуга и прекрасных драгоценных камней. Херувим над глазами опять же из жемчуга, на воскрылиях клобука золото и драгоценные камни. На такую шапку город можно купить, а то и города...

Встреча продлилась за полдень, и тут государь прислал за патриархами ближних своих бояр – звать в Столовую палату на обед.

Шла неделя перед мясопустом, но кушанья ради патриархов подавали рыбные. На первое – хлеб с икрой.

Сидели патриархи по левую руку царя за отдельным столом. Ни труб, ни флейт, ни бубнов с барабанами, но светлый, радостный, словно перевитый солнечными лучами голос юного псаломщика. Он стоял перед аналоем и по монастырскому уставу читал житие Алексея, человека Божия.

Смирение царского пира удивило антиохийцев куда более, нежели жемчуг и драгоценности святейшего Никона. Они еще не знали, что их ждет впереди.

Государь, отведав хлеба с икрой, к другим блюдам только притрагивался. Он потчевал Макария, всякий раз чуть склоняя перед ним голову. Глаза у него были добрые и усталые, а улыбка – светлая, легкая.

«Какой милый человек! – думал о царе Макарий. – Как же это он на троне с такую доброй душой? Вон как в глаза заглядывает, словно самого себя дарит».

Когда бесчисленным блюдам пришел конец, Алексей Михайлович встал и поднес из своих государевых рук серебряную чашу с вином гостю, потом Никону, потом боярам и всем присутствующим. До полуночи продолжалось питье четырех круговых чаш за здоровье государя, государыни, именинника – царевича Алексея – и патриархов. Четыре часа, а то и более того стоял, трудился Алексей Михайлович, и каждому от него было доброе слово и приветливая улыбка.

На улице антиохийцев ждало еще одно московское диво. Оказывается, пока шел пир, стрельцы, сквозь строй которых поутру еще прошло их патриаршее шествие, – стояли! На московском-то морозе!

– Если бы мы не покинули пределы нашей страны, – сказал Макарий своему архидакону Алеппскому Павлу, – то и представить себе не умели бы, что есть истинное терпение. Такого терпеливого народа, как русские, наверное, на всей земле нет. У них ведь и царь терпеливее наших аскетов.

Не чуя ног под собою от усталости, Антиохийский патриарх приготовился отойти ко сну, как вдруг ударили колокола и за гостями пришли.

¹³ ...царь подарил Макарию саккос... – Саккос – верхняя архиерейская одежда, заменяющая собою фелю и имеющая с нею одинаковое духовное значение, а именно: означает вретиче и напоминает о той червленой ризе или хламиде, в которую облечен был Спаситель. Архиерей, облачаясь в саккос, обязан припоминать унижение и смирение Спасителя и не возноситься высотой своего служения.

¹⁴ Клобук – головной убор монашествующих. Белый клобук – головной убор митрополита или патриарха.

– Что случилось? – спросил патриаршего посланца, князя Мещерского, архидиакон Павел.

– Ничего не случилось, – ответил князь, в свою очередь удивившись вопросу. – Царь и патриарх со всем синклитом отправились на всенощную в Успенский собор. Поспешайте.

Пришлось гостям поспешать. И снова удивлению их не было меры: царь со всеми боярами отстоял всенощную, потом утреню и покинул храм только на заре. Позже в своей книге Павел Алеппский, испытав на себе тяготы московского благочестия, написал, содрогаюсь от воспоминаний: «Наши умы были поражены изумлением при виде таких порядков, от которых поседели бы и младенцы».

Государь после долгих служб не кинулся без ног в постель, но, задержав у себя Никона, советовался с ним о делах государственных.

Вести с войны приходили все недобрые, и Алексей Михайлович ждал от собинного друга утешения.

Из Смоленска бежал изменник Соколинский, а с ним братья Ляпуновы. Мещане города Озерищи вырезали тридцать шесть стрельцов, воеводу же связали и выдали Радзивиллу. Предались полякам любвицкие мещане. Изменила Орша. Наказной гетман Золотаренко снял осаду Старого Быхова и сам теперь осажден в Новом Быхове.

Чудом вырвались из плена гетман Хмельницкий и воевода Василий Борисович Шереметев. В Умани поляки и татары осадили полковника Богуна. Хмельницкий с Шереметевым пошли на выручку, но под Ахматовом были окружены вчетверо превосходящими силами. Не сробели, построили табор, пробились к Белой Церкви, и конечно, не без потерь.

– Я вчера еще отписал в Белую Церковь! Пусть Шереметев возвращается в Москву, коль только и знает, что пушками да знаменами в степи сорить!

Никон насупил брови.

– Не поторопился ли ты, великий государь, с указом? По моим вестям, Шереметев ладит с Хмельницким. А после такого сражения он и подавно станет гетману как близкий товарищ.

– В товарищи гетману у меня есть человек не чета Ваське! – вспыхнул царь.

– Уж не Бутурлин ли?

– А вот и Бутурлин! Ты против, что ли?

– Помилуй, великий государь! Боярин Василий Васильевич отмечен от Бога многими достоинствами. Одного лишь у него теперь нет.

– Чего?

– Молодости.

– Хмельницкий сам старик, ему со старым человеком говорить о государственных делах не обидно, а с молодым – обидно... Да ты не думай, что царь у вас прост, как... – Государь не нашелся, с чем сравнить себя, чтоб и похоже было и чтоб достоинства своего не уронить. Махнул рукой. – Вторым воеводой у Бутурлина будет Григорий Григорьевич Ромодановский. Бутурлин говорить горазд, а Ромодановский горазд саблей махать. Вот и сладится у них дело.

– Воистину мудрое решение! – притворно просиял Никон, не особенно скрывая притворства. – Как не порадоваться на твою государеву прозорливость!

Алексей Михайлович опустил глаза и вздохнул.

– Тебя еще что-то гнетет? – по-отечески участливо спросил Никон.

– Измена на измене. Полковник Поклонский вышел на вылазку из Могилева да и перебежал к Радзивиллу. Большой острог сдали. Воевода Воейков в замке укрылся, слава Богу, хоть могилевские горожане с ним, против Литвы. – Дотронулся до руки Никона. – Переслали изменническое письмо Поклонского к могилевским мещанам. Пишет: с Москвой нам навеки жить. Москва едва годится на то, чтоб нам служить, а не то чтоб мы ей служили... Помощи-де ждать вам неоткуда. Царь в Москве заперся, патриарх народом убит, моровое поветрие людей повыкосило.

– Ну что – Поклонский?! – Никон только рукой махнул. – Я его и проклинать не стану. Поляк и латинянин. Речи его глупы, и глупость их тебе же, государь, на пользу. Чем больше литвы поверит, что у Москвы народа нет, тем страшнее им будет, когда ты явишься на них грозю.

– А ведь правда! – обрадовался Алексей Михайлович. – Ох, люблю тебя. Я уж света было невзвидел, а ты вот сказал словцо – и полегчало.

И вправду успокоился: изменник страшен, когда за спиной стоит, в стане врага от него вреда меньше.

10

Полковник Лазорев стоял на пороге, тиская в руках шапку. Показалось, что Борис Иванович Морозов¹⁵ не узнал его. Боярина словно инеем ударило. Борода белая, брови белые, и лицо словно бы припорошило.

Боярин допустил до себя просителя, на поклон сказал: «Здравствуй!» – да и позабыл вдруг о пришедшем. Прикрыл ладонью глаза, затих.

Андрей Лазорев не знал, как и быть ему. Окликнуть – смелости не хватало, а чтобы повернуться и уйти – смелость нужна еще большая.

Решился вздохнуть:

– Ох!

Боярин не шелохнулся.

– О-ох! – снова вздохнул полковник.

Ни звука, ни движения в ответ.

«Может, спит?»

Охнул во всю грудную клетку:

– У-у-о-ох!

– Телишься ты, что ли?

Морозов отвел от глаз руку и посмотрел на полковника до того серьезно и печально, что хоть сквозь землю провались, а все равно – стыдоба!

– Ты в чуму в Москве был?¹⁶

– В Москве, Борис Иванович.

– Дом уцелел?

– Дом уцелел, а домашние все померли.

– Дворни много осталось?

– Никого.

– Если пришел людей просить, так у меня из трех с половиной сотен в живых Бог оставил полторы дюжины.

Лазорев встал на колени:

– О боярин пресветлый! Не казна мне надобна, не палаты со слугами. Скажи обо мне государю, отпустил бы он меня на войну с ляхами. Не могу в Москве жить. Хари чумные за каждым углом мерещатся. Я Москву-то от чумы спасал, да к себе ее и приволок во двор. Ради мести и злобы прыгнул ко мне через забор чумной мужик.

Морозов встал, подошел к Лазореву, поднял с пола:

¹⁵ *Борис Иванович Морозов* (1590–1661) – государственный деятель, руководитель русского правительства в середине XVII в., боярин. Был «дядькой» (воспитателем) царя Алексея Михайловича. С 1645 г. фактически возглавлял московскую администрацию. После Соляного бунта по требованию восставших был сослан в монастырь, но скоро возвращен и до конца 1650-х гг. продолжал негласно руководить правительством.

¹⁶ *Ты в чуму в Москве был?* – Эпидемия чумы в Москве свирепствовала в июле – октябре 1654 г. и унесла огромное число человеческих жизней.

– Я давеча молодым тебя вспомнил. Такой ты удалец был... Да и я уж не тот. В те-то поры кровь по жилам аж кипела! И того желалось, и этого. Все было надо. Все хотелось сделать по-своему, ибо одни мы умны... А поживешь... – Он махнул рукой. – Теперь вот и глаза видят окрест, и уши наконец очистились, чтобы слышать. Истина в мире немудреная: кукарекают все, но всяк на свой лад. И никого ты не переучишь, разве что перекричишь! – Морозов засмеялся, и очень даже весело. – Все ж, будь нам удача, многих нынешних бед Россия и не знала бы! Не дал Бог удачи, а жизнь взяла да и прошла.

– Мудрость, Борис Иванович, с годами только прибывает.

– Не болтай! Не болтай! – прикрикнул Морозов в сердцах. – Всего ума в старости себя-дурство выказывать. Не самодурство! Самодурство – это когда над другими дуришь, а себя-дурство – себя дурнем выставляешь и дурью этой изгаляешься. Ну да ладно!

Борис Иванович, шаркая ногами, пошел к заморскому креслицу. Его сильно шатнуло. Лазорев успел взять старца за локоть, но тот отдернул руку:

– Сам! Сам!.. – Сел, поглядел на Лазорева из-под бровей. – В дом бы к себе взял. Вместе бы коротали... Да незачем тебе раньше срока в старики. Жизнь сегодня прибила, а завтра поднимет и цветами еще украсит. Поехали со мной нынче в Успенский, там я и укажу государю на тебя. На войну отпустит. У войны глотка широкая. А теперь ступай, отдохну.

Лазорев, кланяясь, пятился к дверям, а старец, закрыв глаза, то ли дремал, то ли грезил. И было скорбно Лазореву видеть это.

Что же ты, старость, над людьми потешаешься без всякого удержу, управы ниоткуда не ведая, стыда не зная?!

И подумалось вдруг: «А ведь все у Бога – истина и разум. Старость – тихая ступенька от жизни, где человек был всем, к безымянной тишине вечности, к вечному покою».

11

В честь Соборного Воскресения, венчавшего Неделю Православия, служба в Успенском соборе торжественностью и величием, по мысли ее устроителя Никона, должна была потрясти разум и сердце всякого сущего во храме, но прежде всего Антиохийского патриарха. Патриархам сослужили шесть архиереев. По правую руку Макария становились митрополит Новгородский, архиепископы Рязанский и Вологодский, по левую руку Никона – митрополиты Сербский, Ростовский, архиепископ Тверской. За архиепископами стояли архимандриты по двое на каждую сторону – чудовский, Новоспасский, симоновский и андроньевский, а также протоиереи Успенского и Архангельского кремлевских соборов и многие, многие протопопы, попы, дьяконы.

Дело шло к весне, было уже четвертое марта, но мороз до того разлютовался, что даже внутри храма стены обрастали белой шерсткой инея.

Царь, озябнув, сошел со своего места, встал рядом с Борисом Ивановичем Морозовым и все грел руки за пазухой, то правую, то левую.

Несмотря на холод, служба не поспешала. За обедней протодьякон бесконечно долго читал синодик, поминая святых греческой церкви, потом русских святых. При каждом имени сослужащие патриархам архиереи и попы возглашали троекратную вечную память. Затем поминали русских великих князей и царей, князей, воевод и ратников, павших на нынешней войне, а потом без перехода пошла троекратная анафема еретикам и знаменитым иконоборцам. За анафемой последовало пение многолетия: царю, царице, царевичу, сестрам царя, его дочерям, патриархам Никону и Макарию, архиереям, священству, боярам, воинству и всему православному люду.

У Макария затеплилась было надежда, что длинной и ледовитой службе пришел конец, но Никон, помолясь перед алтарем, направился к амвону, где служки открыли ему на нужной

странице Сборник отеческих бесед, и Никон принялся читать слово об иконах, то и дело прерывая чтение для собственного толкования и вразумления пасомого стада.

Улучив минуту, Борис Иванович отыскал глазами Лазорева и сделал знак приблизиться.

– Великий государь, – шепнул боярин царю, указывая глазами на полковника. – Этот дворянин всю чуму оберегал Москву от грабежей и насилия, потерял семью и дворню. На войну хочет, подальше от опустевшего дома своего.

– Завтра в Думе скажи о нем, – ответил государь, взглядывая в лицо полковнику. – Пошлю с обозом и пушками к Якову Куденетовичу Черкасскому.

Лазорев не расслышал тихую речь государя, но понял, что сказано одобрительно.

А Никон между тем закончил поучение и приказал принести иконы латинского письма. Сначала сам он по-русски, потом Макарий по-арабски предали анафеме и отлучили от церкви всех будущих иконописцев и держателей неугодных икон.

Пришла для Никона соблазнительная минута поквитаться на глазах царя и восточных иерархов, Антиохийского и Сербского, со всеми своими противниками, натравившими на него чернь во дни морового поветрия¹⁷.

Никон брал в руки проклятую икону, зачитывал имя вельможи, у кого она была взята, и бросал на чугунные плиты пола. Ловко бросал – всякая икона от того броска раскалывалась.

Лазорев, оказавшийся рядом с тем местом, куда падали иконы, грешным делом засомневался. Иные доски были толстенькие, перегородками сцеплены, и всякая – надвое да натрое! Показалось полковнику – заранее были топориком расщеплены.

Иные иконы, разбившись, подкатывались царю под ноги. Ресницы у царя всякий раз вздрагивали от удара иконы об пол.

Расправившись с последней, Никон простер над грудой досок свои властные руки и приказал служкам:

– Все это на площадь и сжечь!

Царь вздрогнул, поднял опущенную голову:

– Святейший, молю тебя! Не попусти казни огненной. Достаточно будет закопать иконы в землю!

– В огонь их! В огонь! Чтоб и пепла не осталось от ереси!

– Святейший! Не попусти! Больно уж страшно – огнем жечь...

Никон стоял на амвоне, возвышаясь над царем, над боярством. Голова поднята, в глазах – неистовый огонь.

Рука, властная, завораживающая, медленно поплыла над толпой. Благословила царя.

– Да будет по слову твоему, великий государь! Да будет мир в наших сердцах! Да будет Бог наш пребывать в доме нашем!

Семь часов длилась служба, но антиохийцы не заметили, чтоб для русских она была в тягость.

¹⁷ Пришла для Никона соблазнительная минута поквитаться... со всеми своими противниками, натравившими на него чернь во дни морового поветрия. – Бунт против Никона случился 25 августа 1654 г., во время чумы. Люди, недовольные разными новизнами – морозовскими, никоновскими, – воспользовались бедствием и попытались взбунтовать народ. 25 августа возле Успенского собора собралась толпа. Люди стали говорить, что на всех лег гнев Божий за поругание веры, во всем виноват, мол, патриарх, который дал волю еретичу старцу Арсению, поставив его к печатанию книг, и многие книги перепорчены и т. д., а также что патриарх пристало быть в Москве и молиться за православных, а он столицу покинул, и попы, глядя на него, разбежались, и проч. Они требовали, чтобы патриарх пожаловал в Москву, а также чтобы были приняты меры против печатания книг, исправляемых Арсением, и др.

12

Едва Алексей Михайлович вошел в спальню, царица Мария Ильинична, сидевшая на красной скамеечке, поджала губы и отвернулась.

– Кто тебя обидел, голубушка? – Царь спросил с таким сочувствием, что у Марии Ильиничны даже слезы из глаз брызнули.

Подбежал, обнял, головку погладил.

– Ну, полно же! Расскажи про печаль, тотчас и полегчает!

– Не-е-ет! – упрямо замотала головой Мария Ильинична. – Не полегчает.

– Да кто ж он, супостат? – осердился царь. – Уж я его!

– Не-е-е-ет! – еще горше замотала головой царица. – Ничего ты ему не сделаешь!

– Это я-то?! Царь?!

Мария Ильинична подняла заплаканное лицо, улыбнулась сквозь слезы:

– Царь! Царь! – обняла, уткнулась лицом в шелковую бороду. – Ложись поскорее! Заждалась тебя.

Ничего не понимая, Алексей Михайлович взошел с приступочка на высокую царскую постель, а с другой стороны царица в постель поспешила.

– Кто ж обидел-то тебя? – снова спросил царь с недоумением.

– Да ты и обидел.

– Я?!

– Опять ведь уезжаешь...

– Уезжаю. – Алексей Михайлович вздохнул. – Уж такая судьба, Мария Ильинична. Положиться не на кого. Я уехал с войны, и сразу все пошло вкось да вкривь... Сдается мне, однако ж, не про то у тебя обида.

– Нет у меня никакой обиды, а только горько! За тебя ж и горько... До какого страха дожили – иконы в церкви, как горшки худые, колотят! В царевой церкви! А кто колотит-то! Патриарх!

– То не иконы – анафема.

– Анафема?!

– Анафема. И Антиохийский патриарх про то же сказал, и Сербский митрополит.

– Да они все – попрошайки! На черное, ради милостыни, скажут – белое. И глазом не моргнут. Вздумается Никону в церквях по-козлиному бляеть, тотчас и подбрехнут: истинно-де!

– Голубушка, не говорила бы ты этак! На Никоне благодать Божия.

– И на нас она, на царях, благодать. Не худшая, чем на Никоне. Нечего мне про него думать! О тебе пекусь. Ты – царь! Тебе перед Богом за людей ответ держать.

Алексей Михайлович долго виновато молчал. Вздохнул.

– Ты не права, голубушка! Никон – великий святитель. Он о государстве не меньше моего печется. Без него мне хоть пропадай. Все ж ведь у нас дуром делается. Живут дуром, воюют дуром. А Никона – боятся! Меня тоже, да не все... А его – все! Мне без него, голубушка, нельзя.

Осторожно погладил царицу по щечке:

– Ты уж не сердчай на меня. У меня тоже ведь сердце кровью обливается. Уж через неделю ехать от тебя... От Алексеюшки-сыночка, от сестриц. Скучлив я по дому!.. На иконы битые глядячи, я не меньше твоего плакал и печалился. Но ведь не унимаются злыдни! Не велено писать латинских икон – пишут! Не велено в домах ставить – ставят! У нас коли не поколотишь, так и не почешутся.

– Ох! – вздохнула царица.

Царь подумал-подумал и тоже вздохнул.

13

В то Соборное Воскресение на Неделе Православия в Тобольске произошли события, повергшие в страх многих бывалых храбрецов.

Среди еретиков и прочих хулителей православия, подвергшихся троекратному анафематствованию, был помянут защитник блудодея и кровосмесителя Иван Струна. Анафему проносил сам архиепископ Симеон, а сослужили ему в тот день все тобольские протопопы, иеромонахи, попы и дьяконы.

Едва прозвучало имя Струны, как боярский сын Петр Бекетов вскочил на алтарь и, замахнувшись на архиепископа, на стоявшего рядом с ним Аввакума, заорал, как на площади:

– Ах вы, сучье вымя! Царских слуг проклинать? Я вашим же проклятьем, как коровьей лепехой, в морды вам! В морды! Гривастые кобели! Рыла паскудные! Ну, погодите же у меня! Пошли, ребята, отсюда, от этих вонючих козлов!

Выскочил из церкви, какое слово ни скажет – все матерное. Вдруг зашатался, споткнулся. Лег. Да и умер.

Тотчас вышел из церкви с высоко поднятым крестом протопоп Аввакум и сказал с паперти, как с небес:

– Хулил Бога и Божеское – и ныне мертв и хулим всеми. Да обойдет сие тело жена и сын и всякий человек, ибо в нем дьявол и смерть. Пусть собаки его пожрут, лаятеля Бога, православия и священства.

Архиепископ жестокий запрет аввакумовский утвердил словом и молитвой.

Тело знатного землепроходца три дня лежало на площади, и никто не посмел подступить к нему. Все три дня Аввакум не выходил из церкви, молясь по душе усопшего, чтоб в день века отпущено ему было.

На четвертый архиепископ Симеон с протопопами и попами похоронил Петра Бекетова с почестями, положенными царскому человеку. Слез было пролито в тот день обильно, через прощение Бекетову всякий житель Тобольска чувствовал себя разрешенным от грехов. Один Иван Струна не унялся. Пришел к воеводе и сказал на Аввакума: «Слово и дело!» Все про то же, да еще смерть Бекетова на него взвалил.

Князь Хилков хоть и сочувствовал Аввакуму, однако донос о хуле на царя, патриарха и на царева слугу ни скрыть, ни задержать не смел. Отправил в Москву.

14

Савва, излечившийся в монастыре от ран, возвращался домой в деревню Рыженькую. Оставалось, после долгого пути, совсем немного.

Он шел целиною, мимо дороги – прямым путем, и мальчишечье озорство наполняло его сердце, и был он радостен, как телок.

Март выстлал крепкие, скрипящие под ногою насты. То звенела весна. От полыхающего злато-белым огнем снега исходил такой чистый дух, что душа принималась дрожать от весеннего нетерпения.

Мир купался в свету.

Савва, хоть и тащил на себе мешок поклажи, не чуял ни мешка, ни тела своего. Уж такая эта пора – март! Медведь в берлоге птицей себе снится.

Словно купол, обтянутый белыми атласами, отбрасывая снопы золотистого света в синее небо, на десять верст окрест блистала Рыженькая.

Савва остановился, глядя на деревню. Щуря глаза, поискал двор тестя.

По здравому рассуждению, надо было бы зайти к Малаху.

Не зашел.

В лес кинулся, к Енафе ненаглядной.

Праздник так праздник! Пусть сполна будет! Ну а ежели что иное... так про то лучше не думать. Смотришь – пронесет.

В лесу неба убавилось, а света словно бы и прибавило. Снизу вверх струился. Каждое дерево в убранстве, всякий сугроб – как шапка Мономаха.

Певуч мартовский свет, но в душе Саввы песня с каждым шагом тишала да и совсем смолкла. Тревога, как снежный ком, обваляла сердце.

Шел Савва сначала все бездорожьем, полагаясь на твердый наст и память, а потом, чтоб не сбиться, на тропу вышел.

Тропа оказалась набитая. Стало быть, людей в лесу много. Братья вернулись?.. Бег свой бестолковый поумерил. Война научила: сначала посмотри, а потом уж и высовывайся... Шел, шел Савва – да и стоп! Голоса из-под земли.

Замер, дыхание затаил – поют. Звук глухой, суровый, и точно – из-под земли его ветром тянет.

Сошел Савва с тропы. От дерева к дереву, как заяц, скачет и все слушает. Что за притча? Откуда оно взялось, подземное царство? Или, может, Лесовуха в колдовстве расстаралась?

Вот и поляна наконец. Дом Лесовухи... На крыше – крест! Вместо изгороди – кресты. Огромные, из бревен.

Хотел Савва в лес податься, обойти поляну стороной. Повернулся – человек с дубьем. Через плечо глянул – еще мужик.

– Кого выглядываешь?

Савва руку за спину – да и выдернул из мешка кистень.

– А вы кто такие?

– С тебя спрос! Мы – тутошние.

– Э, нет! – рассердился Савва. – Это я тутошний. С вас будет спрос за мою жену и дите!

Мужики опустили дубины:

– Ты муж благоверной Енафы?

– Благоверной?! Да что у вас тут, монастырь?!

– Не шуми, – сказали ему. – У нас житье тихое, несуетное...

– Где Енафа?!

– На молитве. Ступай и ты помолись с дороги.

Савва пошел, ни о чем уже не раздумывая – лишь бы Енафу увидеть.

15

Отворил дверь – и отпрянул. По всему полу камни, железные цепи, и все-то они вдруг колыхнулись, стоямя стали. Цепи звенят, камни шевелятся.

Сбежать не успел, сзади, тычком, помогли порог переступить.

Только теперь разглядел Савва, что камни и цепи – на спинах людей. Стоявший перед иконою темноликий старец с белым нимбом длинных косм повернулся к вошедшему и белой, без кровинки, рукою указал место возле себя.

Тотчас с Саввы сняли мешок и шубу, и он, косясь на молящихся – нет ли среди них Енафы, – прошел, куда ему указали, и стал на колени рядом со старцем.

– Покажем Господу смирение наше и трудолюбие! – сказал старец и, поднявшись с колен, перекрестился и снова пал на колени, а затем ниц.

– Поклоны! Поклоны! – зашикали на Савву, и он невпопад тоже стал подниматься и опускаться, сначала посмеиваясь про себя: слава Богу, конец службе, коли поклоны, – но старик кланялся и кланялся, а у Саввы уже и спина заболела, и пот рубаху насквозь прошиб.

Савва и остановился бы, но глаза его невольно косили на две каменные плиты, висевшие у старика на груди и спине. Каждая пуда на полтора-два.

У Саввы все жилочки, кажется, дрожали и болели, когда наконец старик и его паства утихомирились.

Расселись по лавкам, затихли, и Савва видел: один он дышит как загнанный жеребец.

Вдруг бесшумно, медленно, как во сне, поднялась крышка, закрывающая подполье, и появилась женщина с решетом на голове.

– Енафа! – закричал Савва, вскакивая.

Его схватили, усадили на место.

Енафа словно и не слышала крика. Пошла по кругу, и всякий брал из решета щепоть. На Савву не взглянула. И только уж когда перед ним остановилась, увидел Савва: ресницы ее опущенных глаз дрожат и рука, держащая решето, дрожит. Он взял то, что брали другие, и, следуя их примеру, не глядя, что взял, – сунул в рот. Это был изюм.

Енафа обошла всех, тотчас женщины обступили ее, одели в шубу, в валенки, повязали платком, увели.

Савва развернулся, чтоб схватить старца за грудки, а схватиться не за что – камень на груди.

– Отдай жену! – закричал Савва, колотя кулаками по лавке.

– В Енафе ныне пребывает Дух Божий, – сказал ему старец кротким голосом. – Мы от нее, пречистой, причащаемся.

– Кто вы такие?! Откуда взялись?

– Мы – духовные дети отца Капитона! – ответили ему, указывая на старца.

– Где дите мое?! Где жена?! – Кровь бросилась Савве в голову, рванулся он к своему мешку за кистенем.

Его подмяли. Он вырвался, но его опять грохнули на пол. Раздели, разули, связали.

Старец Капитон сказал что-то своим людям. И в углу, у двери, из крепких теснин очень скоро была сооружена решетка. Савва превратился в узника сумасшедшей братии Капитона.

– Смирись! – сказал ему старец. – Мы все тут смирению научаемся, и ты поучись.

Савва и сам уже скумекал – иного у него нет выхода, как изобразить раскаяние и смирение. Он понимал: хитрость его быстро расхитрят, молитвенники до людской души зоркие. Стало быть, смиряться надо с оглядкой, старцу вторить не тотчас.

Но человек полагает... Не пришлось Савве притворствоваться. Едва окончили с его заключением, как пришло время обеда. Со старцем Капитоном обедать сели одни мужчины, близкие его сподвижники.

Пригляделся к ним Савва – дивные люди. В глазах одних – сияние и восторг, а у других – бездна, дна не углядишь, а только человеческого совсем не осталось. И страх Савва приметил. На отца Капитона глянуть не смеют, перед иконами тоже головы не поднимают. И ни одного хитреца!

Страшно стало Савве.

Обед ему подали первому. Кружку квасу, кусок хлеба, дольку чеснока, глиняную миску, полную соленых грибов.

Савва шел с самого утра, проголодался крепко. Квас он выпил единым духом, хлеб съел тотчас, прикусывая чесночок... Грибы напоследок оставил. По запаху узнал – Енафа солила, а съесть посмел лишь пяток рыжиков. Всю миску бы умял, но остерегся: понял – за ним наблюдают.

Теперь пришла его очередь смотреть за трапезой своих тюремщиков. Кусок хлеба, вдвое меньший, чем дали Савве, двенадцать постников разделили между собой. Запили хлеб тремя глоточками квасу и съели по одному грибу. И все!

Далее возносили благодарственные молитвы Богу, а потом разошлись по делам.

Капитон вытянул из-под печи толстенную дубовую колоду и принялся вырубать из нее огромное какое-то корыто.

Савва чуть не спросил: «Свиной, что ли, держите?» Хорошо хоть, язык за мыслью не поспел.

– Овечек, что ли, завели?

– Зачем нам овечки? – кротко ответил Капитон. – Гроб себе приготовляю.

– Да ты вроде бодр.

– Ни расслабленные, ни бодрые, ни умные, ни глупые – не ведают, что написано на скрижалях Божьих. А сердце, однако ж, болит: пришли последние времена. Вот и стараюсь.

– Старец Капитон! – взмолился Савва. – Вы все при делах, а я – празден. Дай и мне работу.

Старик принес ему мешок проса:

– Отбери зерна от плевел.

Савва хоть и ахнул про себя, за работу принялся тотчас, без присловья.

Поужинали луковичкой, корочкой и квасом.

Пришла пора ложиться спать.

Савве протиснули сквозь щели шубу.

– Братцы! – возопил узник. – Я ведь живой человек. Мне бы на улицу сходить перед сном-то.

Недолго думая, один из братии выбил топором теснину, потом другую.

– Ступай, прогуляйся.

Савва показал на ноги.

– Босым, что ли?

– Ступай босым. Скорее воротись.

Делать было нечего. Назад как козлик припрыгал. Да чуть и не сел на пороге от изумления.

Старец Капитон, зацепив крюком, притороченным к поясу, кольцо в потолке, – висел, покачиваясь, посреди избы.

За ним еще трое подвесились.

Заколотив за Саввою теснины, поднялся на воздуси и его главный тюремщик.

Висящие прочитали вечернюю молитву и заснули.

А у Саввы сна – ни в одном глазу.

«Господи! Да, может, они все неживые?»

Такого на себя страху нагнал, что зубы стали стучать.

Спрятался под вонючую овчину и до полуночи дрожал. А потом уснул. Сон и от самого себя лекарь.

Пробудились старцы, однако, ни свет ни заря. И опять пошло: молитвы, поклоны, рыдания.

Савва совсем уже агнец. Хоть и тесно ему в дубовом решете, но тоже кланяется, молитвы подвывает.

Еще день отлетел.

И наутро все то же. Под вечер, однако, затеяли старцы поклоны класть – и не сотню, не десять сотен, а – тридцать три сотни и еще три десятка и просто три.

На каждом старце вериги пудовые.

По полтыщи поклонов отбили, стали скидывать с себя камни и цепи: хоть и привычны к подвигу, но уж больно долгий путь избрали себе.

Савва тоже сначала кланялся, да хватило его на полторы сотни. Подвижники тоже стали сдавать, правда, по две тыщи все откланялись, а на третьей многих силы оставили. И плачут, а подняться с полу не могут.

Тут у Саввы кровь-то и заиграла по жилам. Коли тюремщики лежмя лежат, сидельцу сидмя сидеть не пристало!

Капитон с упряжцами все старается. Но вот уж трое, а вот один Капитон – жила живучая. Слову, как Богу, верность держит. С пола встает – скребется всеми своими костями, встанет – качается, и хлоп, словно пол – перина пуховая.

Тут и Савва за работу принялся. Спинай, ногами, руками – оторвал две теснины, вылез на свободу, взял свои валенки, шубу, мешок – и в ночь.

Свобода!

Однако ж какая она свобода без Енафы, без дитяти! Забежал в лес – и лесом к своему дому. Только слышит – кричат и туда же, куда и он, поспевают мужики, бабы.

«Много же вас тут!» – удивился Савва и больше судьбу не испытывал, чашобой двинул на Рыженькую.

В мешке у него, слава Богу, сальце было да пирог с рыбой. Поел на бегу, силы и прибавилось. Потом и мешок в снег закопал. Жизнь – дороже.

К Рыженькой вышел по солнышку. Хватило ума и здесь поостеречься. Издали, прячась за забором, оглядел улицу у Малахова дома. И что же! Возле ворот лошадка в санях. Двое мужиков чужих. И еще один напротив, забор подпирает.

Савва от Малаха, как от чумы, к монастырю, но возле монастырских ворот тоже чья-то лошадка и других трое мужичков томятся.

Шарахнулся к церкви. А на паперти нищих целая свора. Попробуй тут высмотри чужого! Не мед заячья-то доля! Всего страшно.

Вдруг смотрит – обоз к монастырю идет. Двое саней с рыбой, двое с хлебом, а на пятых санях – сено.

Вот на это сено и забрался, изловчась, Савва. Ворота перед обозом отворились и затворились. Тут Савва скок наземь – да в покои игумна.

Остановить его остановили, а Савва целует монахов, рад безмерно, что свои, православные, нормальные люди руки ему крутят.

На шум вышел игумен.

Всю жизнь выложил Савва игумну, а потом в ноги упал.

– Я – воин, пятидесятник, дай мне людей – разорю Капитоново гнездо вконец, людей от изювера избавлю, жену из паутины вырву!

Игумен подумал, бровь поднял, поглядел на Савву и руку ему подал для поцелуя:

– С Богом, пятидесятник! Бери монахов, лошадей! С Богом! По старцу Капитону давно уж Соловки рыдья рыдают... Пушечка у нас обретается, так ты и ее с собой прихвати. Пусть изведает страха Божьего.

16

Клокотало у Саввы сердце: вот уж как выморит он проклятых угодников! Как тараканов выморит!

На двенадцати санях прикатил. Первые сани с пушечкой развернули, лошадь выпрягли – ба-а-ба-ах!

Савва никуда и не метился и не знал, как метиться. Пальнул, а ядро хватить по колодезному журавлю. В щепу разнесло.

Визг поднялся, плач, стон. Смутилась душа у Саввы. Давно ли все тутошние перед ним были виноваты, и вдруг сам стал виноват, один перед многими.

– Ну, вы сами тут управляйтесь! У меня дело есть! – распорядился и, завалясь в сани, погнал к своему дому.

Выкатил на поляну, смотрит – и тут уже улепетьваются. Четверо баб на ухватах, как на носилках, уносят Енафу. В лес бегут.

– Стой! – заорал Савва, сворачивая в снег, а лошадь – ух! ух! – да и стала.

Спасибо, пистолетом в монастыре обзавелся. Пальнул в снег перед собой. Бабы кинули ношу с плеч – и россыпью в елки.

Подбежал Савва к жене, а она сидит в снегу и не глядит на него. Взмолился:

– Енафушка, очнись! Подними глазки-то свои. Это я – Савва. Муж твой!

Тут и полыхнула на него Енафа глазами:

– Не прикасайся! Я, очистясь от греха, – непорочна и совершенна.

Ударил черная кровь Савве в голову.

– Ах ты баба, телячья голова! Легко же тебя задурили! Скорее-о-охонько!

За шиворот поднял да наотмашь – по морде! И еще раз поднял – и опять, силы не умеряя.

А кровь-то не унимается! Лег на нее, о глазах досужих не помня, и насильно, во всю свою береженую охоту, во всю муку. Потом уж, обессилев, перевалился лицом к небу, спросил:

– Вспомнила, чай? Али нет? Где, где ребеночек мой?! Да хоть кто он, сынок али дочка?

Тут Енафа и заревела, да так, будто пруд с весенней водой спустили.

Пришли в дом, а внутри он весь голубой, красный угол золотом расписан. Вместо икон – вроде бы голубятня, и в той голубятне мальчик, как в раю, золотым яблоком играет.

Савва как самого себя увидел.

– Сынок!

Кинулся, снял мальчишечку с верхотуры, к груди прижал. А мальчишечка пыхтит недовольно.

Енафа на лавку села, голову руками обхватя.

– Некогда рассиживаться! – крикнул на нее Савва. – Одевай сыночка. Да силы собирай. Сейчас монахи пожалуют.

Енафа успела в поневу нательные рубахи завязать да еще сунула ковшик серебряный за пазуху.

Савва посадил Енафу с сыном в сани, вывел лошадь из сугроба, за кнут уж было взялся, тут Енафа и скажи:

– В земляном терему братья твои спасаются.

Теремом оказался погреб.

Кинулся Савва туда – сидят голубчики. Сами себя замуровали в чуланчиках земляных. Разгромил кирпичную кладку, вынес мучеников на свет Божий, сложил колодами в сани и, не оглядываясь, погнал в Рыженькую.

На весь лес дымом пахло – монахи жгли избы.

17

У Малаха на столе жаворонки, а гости к Малаху как снег на голову.

Подкатали сани, снег закрипел, дверь настезь – и вот они: Савва с Енафой, а Енафа с дитятей.

За столом у Малаха не как прежде – едок на едоке: Настена, да Емеля, да сам-третей.

Поклонился Савва хозяевам:

– Принимайте! – и Емеле кивнул: – Помоги-ка мне, свояк.

Принесли немых Саввиных братьев. Положили на лавках: одного у печи, другого возле двери. От братьев дух крепкий, как от нужника.

– Фу! – сказала Настена, и никто на нее не цыкнул.

Была Настена брюхата, а сидела хоть и не под образами, но уж так сидела – всякому ясно, перед кем в доме по одной половице ходят.

Хозяева и гости наздравствоваться как следует не успели – вдруг Енафа разрыдалась.

– Батюшка! Настюшка! Где же сестричка, где братцы?

– Эка дурь лесная! – первым пришел в себя Малах. – Целы все. Уймись! Маняшку замуж выдали. Приезжал в монастырь знаменщик из царевой Оружейной палаты, деисус подновлял¹⁸. Он и высватал меньшую. В Москве теперь живет. И Федотка с Егоркой там же. Они знаменщику подсобляли в храме, да перестарались. В учебу обоих забрал.

– Без лишних людей – в избе просторно, – сказала Настена. – Воздуху – как на воле.

– Ох, сестрица милая! Как же давно я вас не видела! – Енафа не заметила, что Настена губки поджимает. – Разнесло-то тебя! Никак, двойню родишь.

– Вон он каков! – кивнула Настена на огромного Емелю.

– Да что ж мы все стоймя стоим! – всполошился Малах. – За стол садитесь. Настена жаворонков напекла. Почти уж и перезимовали.

Савва показал на братьев:

– Баню бы затопить. Угодники Божии. Как из свинарника.

Малах и Емеля оделись и ушли – кто по воду, кто по дрова. Савва принялся хлопотать над братьями. Попросил у Настены молока томленого, из ложки поил, словно кутят малых. Кожа да кости. Оба седые, серые, жизни в каждом на волосок, а все ж светили ему глазами – на улыбку сил у них не было.

Пришел Малах.

– Скоро банька поспеет, у меня печка шустрая. Покудось отобедаем.

– После бани поем, – сказал Савва. – В себя, тестюшка, никак не приду. Ты знал, что у них там творилось?

– Слухи были.

– Слухи!.. Затоптал я осиное гнездо.

Енафа глядела перед собой, отщипывала от жаворонка крошки.

– Помогите, – сказал Савва Малаху. – У них и ноги-то не ходят.

– Господи! – удивился Малах, когда подняли старшего брата. – Мужик, а как малое дите, веса-то совсем нет!

Енафа и Настена остались с глазу на глаз.

– Вы что же, насовсем к нам? – спросила Настена, поглаживая себя по коровьим бокам.

Енафа все отщипывала кусочки от жаворонка.

– А ты что же, – наклонилась Настена к сестре, – ты у них за богородицу, что ли, была?

Глаза Енафы наполнились слезами.

– Чудно! – сказала Настена. – Как мальчонку твоего зовут?

– Агнец.

– Такого имени отродясь не слыхала. Агнец – это ведь овца?

– Не знаю, – сказала Енафа.

– Ты словно бы спишь.

– Разбуди! Разбуди! – Енафа вдруг вдарилась перед сестрой на колени. – Да разбуди же ты меня!

– А вот и разбужу! – вскочила на ноги Настена, и была она в тот миг прежней Настеной, хитрой, веселой, охочей на выдумку. – Ты хоть помнишь, какой день сегодня?

– Какой?

– Да ведь Сороки! Из-за моря кулик воду принес, из неволя. Айда весну покличем! Как в девках!

¹⁸ ...деисус подновлял. – Деисус – трехличная икона, включающая изображение Спасителя (посередине) и обращенных к нему в молитвенных позах Богоматери и Иоанна Предтечи. Эта икона была чрезвычайно распространена у нас в конце XVI–XVII вв.

Енафа поднялась с колен.

– Айда! – взяла несколько деревянных ложек, постучала одну о другую, дала сыну: – Играйся! Мама скоро придет.

Мальчик взял ложки и принялся колотить одну о другую. Енафа оделась, выскользнула за дверь.

Небо было затянуто белой ровной поволокой, в воздухе чувствовалась влага. Снег под ногой не скрипел, проседал податливо, будто смирившись с судьбою.

Они зашли за первые березки, обнялись, тихонечко кликнули:

– Ау!

И послушали. Тихо было в лесу. И пошли они друг от друга, от дерева к дереву, и замирали, и кликали:

– Ау-у!

И припала Енафа к березе. Уж больно кора у нее была белая, даже вроде и голубая.

– Ау-у! – позвала, и ветер вдруг прокатился над лесом, влажный, сильный, и Енафа услышала, как вздрогнула береза, так со сна вздрагивают, и сама задрожала: – Ау-у-у!

Угу-гу-гу-у-у-у! – гулял в вершинах весенний сильный ветер.

Енафа мимо давешних своих следов побежала обратно.

– Настя! Настя!

Настя шла ей навстречу.

– Ты что?

– Откликнулась!

– Кто?

– Весна!

Настена засмеялась:

– Я же говорила, что разбужу тебя.

– Пошли! Скорее, скорее! Домой хочу! В баню хочу!

– По Савве, что ли, соскучилась?

– По Савве.

И уже не слыша сестру – чуть не бегом. Остановивалась, поджидала тяжелую теперь на ногу Настену – и опять вперед, вперед, подметая подолом глубокие снега.

Братья-молчуны, в белых рубашках, намытые, расчесанные, сидели за столом с Малахом.

– А Савва где?

– В бане, – сказал Малах. – Всех намыл. Теперь сам парится.

Енафа сняла с полки над порогом веник и выскочила за дверь. Раздевалась в предбаннике как угорелая, руки и ноги дрожали, и сама вся трепетала. Дернула дверь в баню – не поддается. Еще дернула – никак! Чуть не заплакала, но дверь распахнулась.

– Это я, Савва! Это я пришла, спинку тебе потерять.

– А я уж и заждался, – подхватил ее, унес в банное, духмяное, пахнущее летом тепло.

18

Чем ближе дело шло к весне, к пахоте, тем скарее заглядывала едокам в рот бесстыдница Настена.

Братья поправлялись худо. Савва выносил их на солнышко, усаживал на завалинке. Они, как малые дети, радовались свету, птицам, летевшим на гнездовья, оттаявшей земле.

Емея был хмур, за столом молчал. Поевши, уходил в сарай чистить стойло, готовить упряжь, соху, телегу. Савву он к своему делу не допускал, и тот, чтоб не сидеть сложа руки, резал из липы узорчатые наличники, новые ворота поставил.

Енафа все хозяйство взвалила на себя, но сестрица только фыркала да морду воротила.

Малах поглядывал, помалкивал.

Ждал, что само собой житье утрясется.

Савву недовольство Настены и Емели мало трогало. Он себя нахлебником не считал. Как жить дальше, не загадывал, но знал – хлеб и соль, придет время, отработает. К тому же и деньги у него были. На весенней ярмарке, чтобы утереть Емеле и слюни и сопли, купил лошадь, трехлетку. Купил и Малаху поклонился: принимай, тестюшка, подарочек. Малах даже расплакался: совестно ему было за Настену. Такая легкая девка, и на тебе – злыдня злыдней.

Однако пришла пора сеять.

Тут Настена и высказалась:

– Батюшка сам пожелал, чтоб мы с Емелюшкой жили в его дому. Старую избу Емелину спалить пришлось из-за чумы. Землю свою мы с батюшкой соединили, чтоб сподручнее было, а вы-то и явились, как галки. У нас, покуда дите не родилось, три рта, а у вас пять... Мы с Емелюшкой решили землю снова разделить надвое, а чтоб справедливо было, пусть и Емелино поле – пополам, и батюшкино тоже пополам.

Земля Емелина была много хуже Малаховой. Малах от гнева рот открывает, а слова сказать не может – вот наглая дочь! Но Савва засмеялся и сказал Малаху:

– Бог с ними! Вижу, извелась Настена, в рот нам заглядывая. Ты, батюшка, однако, сердца на нее не держи. Делиться так делиться. Мы и на малую часть вашей земли не заримся. Поправятся братья, встанут на ноги – мы уйдем. А покуда, Настена, терпи. Не то, злобой изойдя, лягушонка родишь.

Перепугалась невестка, язык прикусила, взгляды свои умерила: Савва – колодезник, ворожбу знает.

Землю поделили, однако. А тут Емелю монастырские люди в извоз забрали. Пахотой не отговоришься, на три дня прогон, земля еще и не провеялась как следует после снега и дождей.

Малаху тоже занедужилось, переживал-таки Настенину склоку.

Савва же, соскучившись по работе, вышел в поле. За первые два дня вспахал и засеял целиком Емелино поле, а на третий день принялся пахать Малахову земельку, и опять же не деля на ихнее и на свое. Осталось вспахать не больше трети. А уж и сам в поту, и лошадка. И кончить охота.

Стал распрягать, чтоб попаслась лошадь на молодой травке. Смотрит, Емеля скачет охляп¹⁹. Обрадовался:

– Вот и перемена подоспела!

А сам узел на вожже растягивает, затянул сильно. Сунул кнут за пояс, чтоб не мешал.

– Как съездил, Емеля? – спрашивает, а сам все с вожжой возится. – Я распрягу, а ты, коли не устал с дороги, попаши.

Поднял голову, а Емеля вот он, с лошади слез, подходит почему-то крадучись, правую руку за спиной держит.

– Что там у тебя? – улыбается Савва.

– А вот что! – закричал Емеля и огрел свояка по голове колом.

Рухнул Савва на колени, да и завалился на бок, кол от удара – надвое. Но Емелю это только распалило. Поднял ту половину, у которой конец заострен, встал над Саввой, да и приметался в горло.

– Я тебе покажу, как землю воровать!

Ох, если б не присловье это!

Через туманы докатилась до Саввы угроза, выхватил из-за пояса кнutoвище, и, когда огромный Емеля согнулся, чтоб вонзить короткое свое оружие в упавшего, Савва ткнул кнutoвищем снизу, целя в глаз.

¹⁹ ...Емеля скачет охляп. – Охляп (охлябь) – верхом без седла, на голой лошади или на одном потнике.

И попал!

Катался Емеля по земле, выл, как волк, а Савва все встать не мог, чтоб себя спасти, чтоб врагу своему помочь.

Емеля все же первым в себя пришел, навалился на Савву, может, и задушил бы, да Малах с Енафою вовремя успели. Растащили мужиков. Оба в крови, в земле, оба стонут, хрипят. Связал Малах обоих и, дождавшись ночи, привез на телеге домой, семейству на радость.

Тут Настена от страха рожать взялась. Ничего, родила.

19

Обедали.

За столом сидели по чину: Малах, немые братья, Савва, по другую сторону стола – Емеля, Енафа, Настена, Саввин сын Агнец.

Тишина стояла, как на кладбище. У Емели глаз перевязан, у Саввы – голова.

По случаю грянувшей вдруг жары рамы с бычьими пузырями выставили, и в комнате порхал, как бабочка, горько-радостный запах цветущей черемухи. Черемуха цвести припозднилась, но взялась дружно. У Рыженькой весь подол черемуховый.

«Завтра уйдем», – подумал про себя Савва и, потянувшись через стол, погладил сына по льянной головенке.

На улице послышался конский топот, где-то баба завывала, другая... Перестали есть.

– Что еще? – спросил Малах.

И тут лошадь остановилась у ворот. Грохоча сапогами, в избу вошел патриарший, из детей боярских, человек.

– Чтоб завтра об эту пору быть у церкви с деньгами или скарбом на два рубля: рубль царю на войну, рубль патриарху на строительство валдайского да кийского монастырей. Да чтоб без недоимок! – Посланец треснул по стене кнутовищем и ушел.

– Знакомая морда, – сказал Савва.

– Из орды князя Мещерского, – откликнулся Малах. – Два рубля! Где же взять столько?

– У них! – ткнула пальцем в грудь Енафе Настена. – Мужика моего покалечили, вот и пусть платят.

– Заплачу, – сказал Савва и пошел лег на лавку – пол и потолок сноваплыли.

Мужики как тараканы, их травят – они терпят, а потом всем скопом – на стену.

Утром толпой пришли на двор к Малаху:

– Надоумь!

Встал Малах перед людьми, две пряди на голове русые, третья седая.

– Чуму Бог дал пережить, переживем и войну и Никона.

– Ты не умствуй! – стали кричать ему. – Ты про дело скажи. Как от Мещерского избавиться?

– Да ведь Мещерский не сам по себе, – возразил Малах. – Мещерский – слуга царя и патриарха. Свинье, чтоб раздобрела, по три ведра корма давай, а война – та же свинья. Только величиною она выше леса. Коли не будем ее кормить доброй волей, к нам во дворы явится, нас с вами, с женами, с детками, сожрет и не поперхнется.

– Окстись, Малах! – закричали мужики. – Сам знаешь – князь хуже зверя. Его бы задобрить чем, может, милостив будет.

– Нас помилует – с других вдвое возьмет, – сказал Малах.

– Так чего же?! Так чего же?! – зашумела толпа. – В топоры, что ли?!

– Дураки! – теперь уже закричал Малах. – Ныне у вас земля, избы, дети. А коли за топоры возьметесь – уж не видать вам Рыженькой вовеки!

Дали Малаху по уху, попинали маленько, тем бы и кончилась беседа, но у греха рожа прескверная. Вдруг сам князь вот он! Ладно бы со свитой и при оружии... С мальчиком ехал, с сыном своим меньшим. Приспичило князьям птиц в лесу слушать. Мужики, распалившиеся увещеваниями Малаха, обступили всадников. Лошадей за узду, а князь – плетью по лапам! Его и стащили с седла. Ох и закричал тут князь-мальчик!

Савва в тот миг на крыльце стоял. Енафа за ним прибежала, когда старшего князя бить принялись.

– Эй! – крикнул Савва мужикам, – С ума спятили? Прочь со двора!

Тут и к Савве кинулся мужичок с колом, а у Саввы пистоль в руках. Пальнул в упор – полбашки бедному снесло.

Кинулись врассыпную, только дух по селу. Медвежьей болезнью мужики занедужили.

Князь Дмитрий Мещерский подошел к Савве, руку пожал:

– Век не забуду! Сына спас, весь род наш спас.

И не забыл.

На другой уже день половина мужиков Рыженькой отправились на войну в Литовскую землю, а Савва с братьями, с семьей отбыл на остров Кий, надзирать за строителями.

20

Государь Алексей Михайлович, сидя возле открытого окошка, сочинял послание к своему войску. Сочинял сам, не доверяя важного сего дела ни думным дьякам, ни подьячим Тайного своего и пока что не обнародованного приказа²⁰.

Пронять хотел государь служилых людей, так пронять, чтоб душой уразумели, как они должны стоять за него, государя, как должны обходиться с повоеванными людьми, чтоб польза была – и государю, и самим себе, и народу, отбитому у польского короля. Против прошлогоднего война шла куда как не прытко²¹. Солдаты в бега ударялись, воеводы словно бы бояться стали, что совсем поляков победят. А может, и наоборот, опасение имели, как бы удача не отвернулась. Сто побед и от одного поражения не спасут.

«Мы, великий государь, – писал Алексей Михайлович, – прося милости у Бога и у престрашные и грозные воеводы, пресвятые Богородицы, которая изволила своим образом и поднесь воевать их Литовскую и Польскую землю, и не могут нигде противу нее стати...»

Государь отложил перо, поднялся, перекрестился на икону Богородицы, трижды поклонился ей до земли и снова сел на стул и обмакнул перо в каламарь.

– И не могут нигде противу нее стати, – даже палец вверх поднял, – ибо!..

И загляделся, как птица вытягивала из-под листа лохматую гусеницу.

– Ибо...

«...Ибо писано: лицо против рожна прати, и, взяв в помощь честный крест, за изгнание православной веры будем зимовать сами и воевать, доколе наш Владыко свое дело совершит».

Снова кинул перо. Сидел сложа руки, глядя перед собой, притихнув, совершенно не думая ни о чем, хотя как раз про такую бездумную минуту мы и говорим: задумался. Не доду-

²⁰ ...Тайного своего и пока что не обнародованного приказа. – Приказ Тайных дел был создан царем Алексеем Михайловичем в 1654 г. и просуществовал до 1676 г. Тайный приказ подчинялся непосредственно царю и осуществлял контроль над государственными учреждениями.

²¹ Против прошлогоднего война шла куда как не прытко. – Русско-польская война 1654–1667 гг. между Россией и Речью Посполитой велась Россией за возврат Смоленской и Черниговской земель, Белоруссии и за воссоединение Украины с Россией. В 1654–1655 гг. русские войска разбили основные силы поляков, освободили Смоленщину и большую часть Белоруссии. Военные действия шли с переменным успехом. В 1658 г. они возобновились. С 1660 г. инициатива перешла к польским войскам. Завершилась эта война Андрусовским перемирием в 1667 г.

мался, запечалился перед большим неведомым делом: воеводам самое время через Березину ступить.

И вдруг обрадовалось у царя сердце. Может, оттого, что имя у реки хорошее – Березина, береза, белое, милое дерево, может, самое чувствительное среди русских деревьев к весне, к лету, к осени. Березовый сок, зеленые листья на Троицу, золотые к новому году на Семенов день, на первое сентября.

«...И как даст Бог перейдем за реку Березину...»

Тут государь снова уперся глазами перед собой, потом покорно положил перо, подождал, пока высохнут чернила... Чернила высохли, государь свернул недописанную грамоту трубочкой, положил в ларец с бумагами, ларец запер, а ключ спрятал в потайное гнездо в подлокотнике кресла.

Прихватив с собою подъячих тайных дел Дмитрия, Башмакова да Юрия Никифорова, пошел поглядеть ружья, присланные патриархом Никоном. Святитель пожаловал десять возов: пять возов русских ружей, пять возов шведских. Алексей Михайлович брал ружья в руки, зорко осматривал и остался доволен.

В эту добрую минуту появился наказной гетман Иван Золотаренко.

– А я тебя дня через три ждал! – воскликнул Алексей Михайлович с полным простодушием и нескрываемой радостью. – То-то мне нынче золото снилось. У себя под лавкой две монеты нашел. А оно вот оно золото – Золотаренко, а от святителя нашего – оружие.

И, как давеча на ружья, зорко глянул на казака:

– Огненным боем богат? Коли нет – один воз твоим казакам. Нужно ли?

– Еще как нужно, великий государь. Ружья, гляжу, шведские.

– А наши тоже не худы. Возьмешь два воза: один воз шведских, один – московских. Чтоб за глаза чужое не хвалили и зазря своим не брезговали.

Узнав о прибытии казачьего отряда, появились воеводы Морозов Борис Иванович и Милославский Илья Данилович. Тотчас пошли в избу для совета, где казаку указали, куда ему идти, кого воевать и как скоро.

Казачий конный отряд отправлялся за Березину для наведения паники и отвлечения сил противника. Удар этот был заявкой похода на Варшаву, тогда как основные силы двигались на Вильну.

Лишившись Украины, Речь Посполитая потеряла правую руку. Царь и его воеводы задумали отсечь могучую левую – Литву.

Пожаловав казаков денежным жалованьем, Алексей Михайлович отпустил Золотаренко в набег и только после всех этих царских своих хлопот, поздней ночью, при свече, сел дописывать свой указ. Коли отряд за Березину и впрямь отправлен, можно и нужно приструнить солдатские вольности.

«...И как даст Бог перейдем за реку Березину, то укажем вам всем везде хлеб и животину брать в приставство. И вам бы служить, не щадя голов своих. А деревень бы не жечь для того, что те деревни вам же пригодятся на хлеб и на пристанище. А кто станет жечь, и тому быть во всяком разорении и ссылке. А холопу, который сожжет, быть казнену безо всякой пощады. Если кто побежит со службы или болезнь прикинет, не хотя служить, то быть ему казнену безо всякой пощады. И вам бы потщиться верою и правдою, от всего чистого сердца, с радостью, безо всякого сумнения, безо всякого ворчания. И переговоров бы о том отнюдь не было: кто скуден, тот пусть милости просит у государя, а не ворчит и не бежит со службы. А кто будет с радостью с нами служить до отпуску, тот увидит, какая ему государская милость будет».

Закончив указ, Алексей Михайлович позвал Дмитрия Башмакова и велел ему разбудить писцов:

– Пусть перепишут тотчас, и утром чтоб указ разослан был. А сам ступай со мной ко всенощной. Да не забудь с собою каламарь, перо да бумагу.

Вестей о победах пока что не было, и Алексею Михайловичу то было нестерпимо. Уж больно памятен прошлый победный год. Сеунщики²² наперебой о городах взятых горланили.

А тут сам он до Шклова дошел, а воеводы – молчок.

Слушая всенощную, Алексей Михайлович раздумался о Бутурлине.

Боярин Василий Васильевич написал о торжественном приеме в Киеве, о сборах в поход с гетманом Хмельницким ко Львову и замолчал. А между тем до Бутурлина и Хмельницкого явилось срочное и важное дело.

Многие дворяне били челом, а иные, не дожидаясь государевой милости – с войны-то все равно не пустят, – ударились в бег. Не потому, что враг был страшен, а потому, что, пока хозяин с дворней был в ратном полку, крестьяне власти над собой не ведали. Сговаривались целыми деревнями и бежали на Украину, под защиту казачьей вольницы.

Во время чтения входных молитв пред проскомидией²³ Алексей Михайлович глянул на Башмакова и, когда тот приблизился, стал тихонько диктовать письмо воеводе Бутурлину:

– «В нынешнем году с Москвы и со службы от нас, от многих бояр и от всяких чинов людей побежали люди. Собираются в глухих лесах, а собравшись, хотят ехать к Хмельницкому. К своей братье пишут, будто сулят им черкасы маетности, и многих своих бояр поставили пешими и безоружными. И вы, переговора с гетманом и перехватав их всех, велите...»

Тут государь стушевался и даже чуть оттолкнул от себя Башмакова:

– После службы допишешь.

Вражда к ближним, испытываемая на Литургии, – тяжкий грех. А у царя вертелось в голове, сколько надо казнить беглецов, чтоб охоту сбить к бегам. Одного – мало. Одной виселицы на Руси и не заметят. Сотню? Полсотни? – самому страха не оберешься...

Государь вздохнул, покрутил сокрушенно головою и принялся творить молитвы, изгоняя из себя ох не Господом навеянные думы.

Глубокой ночью, уже перед тем как лечь в постель, попросил Ртищева позвать Башмакова, а самого Ртищева отправил за квасом, чтоб с глазу на глаз с подьячим осилить престыдное место.

– Что там у тебя записано? – шепотом спросил Башмакова.

– «В нынешнем году...»

– Последнее читай! Последнее.

– «И вы, переговора с гетманом и перехватав их всех, велите...»

– «...Велите из них человек десять повесить в наших старых городах, в Путивле с товарищи, остальных же, высекши кнутом, пришлите в Москву и заказ крепкий учините, чтоб вперед черкасы их не принимали». А далее напишешь что положено... Ступай.

И спохватился:

– На-ко тебе, – взял из ларца три ефимка, один бросил назад. – За то, что и ночью тебе покоя нет.

Башмаков поклонился:

– Такая уж всем нам судьба, государь. Мы не спим – тебе служим. А ты не спишь – Богу служишь.

– Богу, – согласился Алексей Михайлович, а сам смотрел на огонек свечи: десятерых на виселицу...

²² Сеунщик (сеунч – радостная весть, особенно о победе) – гонец, вестник.

²³ Проскомидия – первая часть христианской литургии, в которой священнослужители готовят хлеб и вино для евхаристии. При ее совершении из просфор – специальных хлебцев – вынимаются частицы в честь и память Христа, Богородицы, святых и т. д.; одна из таких частиц, кубической формы, называется агнецом, так как она представляет собою страждущего Христа. Все действия проскомидии имеют аллегорическое значение: просфора, из которой изъемлетя агнец, означает Пресвятую Деву, дискос – ясли, жертвенник – вертеп вифлемецкий и т. д.

Они, бедные, не ведают, что им уготовано. Бегут многие, а на виселицу – десятерых. Хорошие, смотришь, люди с жизнью расстанутся... Крестьянам лихо – бегут, дворянам лихо – царю жалуются. Царь – головы долой. Один царь кругом виноват.

Пришел Ртищев, принес квасу. Пить не хотелось, но Алексей Михайлович сделал несколько глотков. Улыбнулся Федору Михайловичу жалостно:

– Поспим, что ли? Свечу гаси.

Лег и затих. А глаз не сомкнул до петухов.

Государь спал, когда над Шкловом встала туча и разразилась сильная, но короткая гроза. Утром воздух умывал людей бодростью.

Алексей Михайлович проснулся с ясной головой и спокойным сердцем. И тут – сеунч от стольника²⁴ Матвея Васильевича Шереметева. Взял воевода небольшой, но крепкий город Велиж. Дальний западный угол Смоленской земли, на границе с Псковской и Тверской землями перешел под руку Москвы.

Известие это было получено 26 июня 1655 года. А через десять дней, когда царь со своим Дворовым полком шел к Борисову, порадовали боярин Федор Юрьевич Хворостинин и окольничий Богдан Матвеевич Хитрово. Взяли у неприятеля Минск.

21

Полковник Андрей Лазорев с сотней драгун был послан к наказному гетману Золотаренко с приказом повернуть войско с западного, варшавского направления резко на север, к Вильне. Воевода князь Яков Куденетович Черкасский готовил западню литовскому войску Радзивилла и Гонсевского. Чтобы избежать случайности, Лазореву дали драгунскую сотню: дорога была не близкой, всяческого вооруженного сброда шаталось во множестве. Как знать, с малым числом людей, может, и ловчее было исполнить воеводский наказ.

Трижды пришлось Лазореву прокладывать дорогу оружием, сторониться городов, замков.

И случилось, что гонец проскочил стороною лагерь Золотаренко и встретился с отрядом черниговского полковника Поповича.

Дело было уже к вечеру, казаки в лагере под городом Свислочью торжествовали победу. Город горел, как вязанка хвороста.

– Неприятель весь под саблю пошел, – сказал Попович цареву гонцу, и лицо его было весело.

– За что же так? – спросил Лазорев.

– Засаду, свиньи, устроили. Полсотни казаков порубили – и головы на пики, нас подразнить.

– Хороша дразнилка.

Лазорев глаз не мог отвести от пожарища.

– Пошли в мою палатку, – пригласил Попович. – У нас праздник.

Андрей Лазорев понимал, что ничего уже не поправить, что зло породило зло, и все-таки не удержался:

– Города и невинных людей надобно беречь. Они – достояние государя.

– Беречь! – Попович фыркнул, как разъяренный кот. – Они не больно нас берегут, когда по землям нашим прохаживаются. Ты, полковник, помалкивай! Ты нашей крови оброненной

²⁴ *Стольник* – дворцовый чин (должность) в Русском государстве в XIII–XVII вв. Первоначально прислуживал князьям (царям) во время торжественных трапез, сопровождал их в поездках. Позднее стольники назначались на воеводские, посольские, приказные и другие должности.

не видел, наших детей, сваренных в котлах, из котлов не доставал, потому суд твой никому из казаков не указ. Гляди – и молчи. Нас послали воевать, мы – воюем. А как – то наша печаль.

– Убивать в бою и убивать после боя – не одно и то же, – сказал Лазорев, серея лицом. – Я, полковник, тоже жизнь-то прожил всякую. В Истамбуле был и в чуме был... Ты, полковник, присягнув великому государю – не сам по себе. Ты – часть России, а государь наш русский зря кровь лить никому не позволяет – ни боярину, ни холопу. Вот тебе его указ, где ни жечь, ни убивать не велено. Не слушаешь указа – самого казнят.

– Да я!.. – Попович схватился за саблю, но Лазорев стоял с указом и ждал, когда полковник опамятуется. Опамятовался, принял царское письмо, поцеловал печать. Прочитал царское послание вслух, этак Хмельницкий делал.

– Накормить ты меня и моих людей грозился, – напомнил Лазорев. – Нам в дорогу пора, к Золотаренко.

Попович вдруг просиял, обнял полковника:

– А ты, брат, не хуже казака! Ни в чем не хуже!

– Да и ты русскому ратному человеку под стать!

Тут оба полковника захохотали и пошли есть, потому что солдат что бы ни увидел и что бы ни пережил, а про еду и питье не забывает, ибо уже через час может и бой приключиться, и мало ли еще что.

Уже рано поутру, проскакав ночь напролет, Лазорев был у наказного гетмана.

Золотаренко тотчас поднял свое войско и направился, куда ему было указано; Лазорев же со своими драгунами остался в лагере, чтобы дать передышку людям, а главное – лошадям.

Свято место пусто не бывает. Едва ушел Золотаренко, привалил измученный до смерти отряд изменника Поклонского. В отряде давно уже не слушали приказаний. У кого лошадь была сильнее – приехал раньше, у кого не кормлена – позже. Жолнеры²⁵ занимали свободные хаты. На то, чтобы кого-то выгонять, сил не было.

Барский дом, где размещался Золотаренко со своими драгунами и где теперь спал Лазорев с дюжиной человек, жолнеры обходили стороной, оставляя его для полковника.

Поклонский был ранен в плечо, езда верхом совершенно разбила его, и он, войдя в залу, лег на свободный диван и заснул сном праведника, хотя этот эпитет, может, и не приличен для сукина сына, изменявшего полякам ради русского жалованья и русским – ибо жалованье показалось недостаточным.

Лазорев спал в соседней зале, в голубой. Проснулся в полдень. Позевывая, протирая глаза, направился на двор, но, открыв дверь в пурпурную залу, остолбенел. На диване спал поляк! Лазорев и сморгнуть не успел, как Поклонский проснулся – солдата Бог бережет – и уставился на русского полковника в полном изумлении.

– День добрый, – сказал Лазорев.

Полковник Поклонский увидал, что сабля при нем, удивился еще более, прочистил горло в кулак и ответил по-русски:

– Здравствуйте!

Воцарилось молчание.

– Полковник Лазорев, – представился Лазорев.

– Полковник Поклонский, – звякнул шпорами Поклонский.

– Ты что же, отдыхаешь? – спросил Лазорев.

– Да, с дороги, – ответил Поклонский.

– Вот и мы... Здесь Золотаренко стоял.

– Золотаренко? – На лбу Поклонского выступила испарина.

²⁵ Жолнеры – польские ратники, солдаты.

– Знаешь, – сказал Лазорев, – я все-таки раньше тебя прибыл. Так что я за хозяина – прошу к столу. У Золотаренко и с едой и с питьем не худо было.

– Охотно принимаю приглашение, – перевел дух. – Трое суток почти с лошадой не сходили.

– Прикажи-ка своим не затевать свалки, – сказал Лазорев. – Я своих тоже предупрежу.

В покинутом господском доме происходила престранная и преудивительная трапеза. За столом, который собрали из столов и столиков по всему дому, жолнеры и драгуны насыщались едой, оставленной расторопными казаками. Жолнеров было раза в два больше, но многие среди них имели ранения, и все они были беглецами.

Поклонскому и Лазореву стол накрыли отдельно.

– Я буду с вами откровенен, – говорил Поклонский, отведывая прекрасное молдавское вино. – Однако почему вы не пьете? Учтите, мои мысли от вина не путаются, а, наоборот, приобретают ясность и твердость.

Лазорев показал шрам на голове:

– Вот эта метка не позволяет. От одного глотка память теряю.

– Верю! – сказал Поклонский. – У вас честные глаза. Я вам верю... А вы мне верить не можете, потому что я и королю служил, и вашему царю присягал... но отныне я служу самому себе. Второй жизни мне ни король, ни царь не пожалуют. Вчера мы здесь были властелинами, сегодня вы, а завтра здесь будут шведы. Народ жалко.

Народ и Лазореву было жалко, но он помалкивал по московской привычке.

– А шведы тут при чем? – спросил Лазорев.

– Королева Кристина отреклась от престола, а Карл Густав сложа руки долго сидеть не станет. Радзивилл – протестант. И Карл Густав – протестант.

– Ну и что?

– Вы меня еще вспомните, когда Радзивилл, потеряв Вильну, отречется и от нас и от вас и примет власть шведа, чтоб и вам и нам утереть нос.

– Откуда все это ведомо? – уклончиво сказал Лазорев, не привыкший судить государевы дела.

Поклонский рассмеялся:

– Мне ничего не ведомо. Просто на месте Радзивилла я выбрал бы шведов. У вас Бог – как царь, царь – как Бог, и так до последнего дворянчика, и даже в семье то же самое. Отец – бог, сын – раб, жена сына – рабыня, а он жене – бог. Слишком много богов!

– Так ведь каждый человек создан по Божескому подобию, и Бог у него в душе, – сказал Лазорев. – Плохо ли? Бояться Бога – от сатаны уберечься.

– Ловко, полковник! – изумился Поклонский. – Я думал о русских много хуже...

В дверь постучали, вошел старый поляк:

– Пану хорунжему совсем плохо.

– Пуля у него в голени, – сказал Поклонский. – Он очень молод, а молодые терпеть не умеют.

– У меня коновал есть – любую пулю вытащит.

Лазорев вышел в зал, где много людей весело и дружно ели вкусную всякую всячину, уже не примериваясь, как соседу голову проломить, но, перемогая язык, спрашивали друг друга про жизнь, чего едят, что сажают, велик ли урожай, много ли земли.

– Парамон! – обратился Лазорев к пожилому драгуну. – Молодой у них один помирать собрался. Может, достанешь пулю?

– Надо поглядеть.

Парамон ушел к раненому, пир продолжался.

– Жаль, женщин нет, – поиграл глазами Поклонский, – в таких залах только бы мазурки танцевать. Впрочем, вам, русским, наслаждение танцами неведомо.

– Ведомо, – сказал Лазорев. – Я ваши танцы видел. У нас веселей пляшут. Иной так поддаст – не усидишь!

– В плясках действительно бывает много огня, но они все-таки – дикарство, – сказал назидательно Поклонский.

– Всяк по-своему с ума сходит. Судить чужую жизнь – с Богом равняться. Бог знал, что делал.

– Этак всякое зло, всякую гадость можно оправдать и на Бога свалить! – вскипел Поклонский, и Лазорев, которому надоел словоохотливый поляк, предложил:

– Поглядим, как дела у Парамона.

В зале было уже пусто, драгуны и жолнеры вышли на воздух. Тут и командиры пожаловали.

«Операция» шла под открытым небом. Дюжие жолнеры держали хорунжего, а коновал Парамон копался ножом и шилом в его ноге.

– Вот она! – вскричал радостно Парамон, поднимая двумя пальцами расплюснутую свинцовую пулю.

Жолнеры отпустили хорунжего и радостно смотрели на русского лекаря, который изловчился найти в кровавом месиве раны пулю и достать ее.

– Bravo! – крикнул Поклонский.

И тут грянул выстрел. Хорунжий, оставленный без присмотра, вытянул спрятанный в изголовье пистолет и то ли в бреду, то ли еще как, но пальнул русскому в лицо. Парамон рухнул, обливаясь кровью.

И началась пальба и резня. Столько в этой схватке накоротке было ненависти, что о жизни не думали. Смерти жаждали.

Один, может быть, Поклонский не потерял головы. Приставая пистолет к груди Лазорева, он потащил его к лошадям.

– Вот тебе лошадь, вот мне! И пусть все это быдло, ваше и наше, в крови утонет. Прощайте!

Вскочил в седло.

Лазорев стоял не двигаясь. И Поклонский навел на него пистолет:

– На коня!

Лазорев сел.

– Вперед!

И только через версту приказал остановиться.

– Ну, пан полковник, мне на запад, а тебе на север. В старости еще добрым словом помянешь изменника Поклонского... А за одним столом-то нам, видно, не сиживать. Как сам ты говоришь: Бог того не велит. Прощай.

И ускакал.

Лазорев повернулся в седле, поглядел на кущи деревьев, где совершилась чудовищная человеческая мерзость, и понял, что хватит с него. Хватит с него царской службы, убийств во благо государства, плетей и казней ради благополучия дворянства.

Поглядел вокруг. Зелено. Луга в цвету. Птицы поют счастливое.

Повернул коня в луга и поехал неведомо куда, лишь бы людей не видеть.

Трава была коню по брюхо. Подъехал к лесу. Огромные дубы, растопырив могучие сучья, держали кроны высоко над землей, и Лазорев, даже и не подумав о том, что может заплутать, сгинуть в бесконечной чащобе, направил коня под зеленую кровлю.

Скоро лес стал густ, пришлось сойти с коня, но полковник упрямо шел напрямик и радовался плотной зеленой стене, какая вставала за ним, заслоняя всю его прошлую жизнь.

Но вот день стал клониться к ночи, захотелось есть.

Лазорев наконец-то обратил внимание на сумку, притороченную к седлу.

Малиновый кафтан с золотыми пуговицами, и в каждой цветной камешек – богатейшая добыча, мешочек с серебром небольшой, но увесистый. Женские платья, в другом отделении – сапоги, две серебряные енды²⁶, три шапки: кунья, соболя и суконная, но с камешком и с пером. И, к великой радости Лазорева, кремень с кресалом да завернутый в холст добрый, фунтов на пять, кус крепко соленного, крепко перченного сала.

Лазорев отрезал малый лепесток для пробы. Сало было отменное. Пожалел, что хлеба нет, да и о воде надо было подумать.

Погладил коня. Коню тоже пора было подкормиться.

Лес давно уже стал неуютным, под ногами прелые листья, ни травинки, ни цветочка. А то вдруг крапива – стеной.

Конь почувал беспокойство нового своего хозяина и стал тянуть его все влево, влево. Лазорев понял, что конь взялся его вести, и приотпустил узду.

Еще при солнце вышли к озеру. Другого берега и не видать. На озере островки. Один большой, а малых чуть ли не дюжина.

Лазорев стреножил коня, снял с него сумку, запалил костерок. Набрал воды в енды – и на огонь. В воду салыца осьмушку, крапивных листов, заячьей капустки. Вот и уха!

Пора и о ночлеге было подумать. Спать возле озера сыровато. Набрал сушняку, заодно дубину выломал: всего оружия – нож. Покончил с делами, сел у воды, засмотрелся.

Белые лилии, цапли в камышах, покой.

И пошла вдруг жизнь перед глазами, картинка за картинкой. Первый бой, первый убитый, поход в Истамбул за жизнью неугодного царю человека, Соляной бунт...²⁷ Сек плетью, волочил в тюрьму, вез на казнь. И наконец, чума.

Поплыла земля перед глазами, согнуло вдруг Лазорева в три погибели, да и вывернуло. Вся служба его, вся жизнь – одна блевотина.

Отполз Лазорев к костру, навалился грудью на сумки с чужим, с награбленным добришком и забылся.

Плохо ему было очень. Пробуждался в ознобе.

Конь к нему подходил. А потом сам дьявол: сидел черный, глаза без зрачков зеленые, блевотину его лакал.

– Подавиться тебе жизнью моей! – сказал ему Лазорев и глаза закрыл.

А потом пришли дьяволята, потащили в ад. Лазорев не противился. В глаза било ярим огнем, но огонь тотчас кутался в густом облаке пара.

«В виде бани ад-то у них», – подумал Лазорев, покорный судьбе.

²⁶ *Енда* – широкий сосуд с носиком для разливки питья.

²⁷ *Соляной бунт* – одно из названий московского восстания 1648 г. Стремясь пополнить казну, правительство Бориса Ивановича Морозова сократило количество дворцовых чинов, урезало или отменило вовсе оклады стрельцов, урезало доходы местной администрации и т. д. Чтобы решить финансовые затруднения, правительство в 1646 г. ввело в большинстве уездов высокий косвенный налог на соль – 2 гривны с пуда, что вызвало массовые возмущения населения. 10 декабря 1647 г. налог был отменен, после чего правительство распорядилось собирать прямые налоги в тройном размере. В государстве прошла волна восстаний. Московское восстание началось 1 июня 1648 г. во время возвращения царя Алексея Михайловича из Троице-Сергиева монастыря. Жители попытались подать царю челобитную, однако охрана разогнала толпу, а зачинщиков арестовала. 2 июня царь был остановлен на Красной площади, ему высказали жалобы на налоги и разорение. Вслед за царской каретой толпа ворвалась в Кремль. Царь и патриарх безуспешно пытались успокоить народ. К черным посадским людям пригнали драгуны одного из полков. Восставшие требовали выдачи ненавистных правителей – Морозова и его приспешников. Более 30 дворов было разгромлено, некоторые начальники приказов убиты. Морозов с трудом укрылся в Кремле. Правительство срочно пошло на уступки: Морозов был сослан, взыскание недоимок отменялось, удовлетворялись другие просьбы служилых людей.

И может быть, из-за того, что покорился, стало его баюкать и покачивать. И долго, сладко баюкало и покачивало...

«Господи! Может, я в дите обернулся?» – подумал Лазорев, и тоненькая надежда на добрую, на новую, с детства начатую жизнь пробудилась в нем несообразно и нелепо.

Наконец он открыл глаза. Перед ним на стуле с высокой спинкой сидел мальчик. Бело-головый, синеглазый, серьезный. Он увидел, что Лазорев открыл глаза, радостно ударил в ладоши, соскочил со стула, подошел к изголовью и поцеловал Лазорева в щеку. Губы были легкие, теплые.

– Ты – это я? – спросил Лазорев, все еще не отойдя от наваждения.

Мальчик что-то залепетал непонятное и убежал.

Лазорев повел глазами кругом. Просторная, на века сложенная изба. Да не изба – хоромы. Тесаные бревна в обхват, дубовые. Печь большая, но не русская, не такая. Стол длинный, дубовый. Лавок нет. Высокие стулья вокруг стола.

Лазорев потрогал лоб. Холодный.

Попробовал привстать. Голова не закружилась.

И тут в горницу вошла женщина. Простоволосая, волосы белые, с золотинкой, как сноп соломы. Глаза синие. Лицо чистое. Улыбнулась. Поправила ему подушку и, что-то весело говоря, принесла питье. Он выпил: вроде бы на бруснике настояно. Женщина о чем-то спросила его. Он улыбнулся, потому что не понимал.

Закрываясь одеялом, сел.

– Одежду бы мне, – провел рукою по груди.

Она замахала руками. Ушла и тотчас вернулась с деревянной чашкой и куском хлеба. Подстелила кусок холстины, чтоб не закапал постель, принесла белый круг от кадушки.

На этом столе, сидя в постели, Лазорев поел впервые за болезнь. Пока он ел, пришел мальчик и с ним девочка, чуть его постарше, такая же белая и синеглазая.

Похлебка была гороховая, очень вкусная. И хлеб вкусный, не наш, но душистый, воздушный.

– Спасибо, – сказал Лазорев, возвращая пустую миску. – Одежду бы мне.

Женщина кивнула, подала штаны и малиновый кафтан.

– Нет! – засмеялся Лазорев. – Мое принеси! Другое.

Женщина опять поняла, принесла драгунский кафтан, вычищенный, выглаженный.

Лазорев оделся. Встал. Его шатнуло. Женщина, вернувшаяся в комнату, шагнула было к нему, но он засмеялся. Пошел сам, держась ближе к печи. И очень удивился, когда увидел, что со стороны топки это – целое помещение, с огромным, висящим на цепях котлом! Дымоход прямой. Небо видно.

Сходив в отхожее место, Лазорев поднялся на пригорок. Кругом вода. Остров зеленый, кудрявый.

«Вот и жить бы тут, никому не мешая», – подумал Лазорев.

Мальчишечка взбежал к нему на пригорок, взял за руку, стал показывать на острова, называя странные, нерусские названия.

Рука у мальчика была ласковая, маленькая. Лазорева вдруг переполнила нежность к этому чужому доброму ребенку. Он поднял его на руки. И мальчик просиял, как солнышко, и потрогал его за усы.

– Где твой отец? – спросил Лазорев. – Батя? Папа?

Мальчик пальцем сделал круг возле шеи и поднял палец вверх.

– Повесили, что ли?

Лазорев спустился с холма.

Женщина стояла на крыльце.

– Где твой муж? – спросил он ее. – Его отец? Папа?

– Нет, – сказала женщина. Она выучила это его слово.

Лазорев разделся, лег, заснул. Всего на час какой-то, но проснулся здоровым. Женщина сидела и смотрела ему в лицо, как утром мальчик.

– Раса! – Она приложила ладонь к груди своей.

– Андрей, – сказал он.

– Андрис! – воскликнула она.

– Раса, – сказал он.

Женщина показала на девочку:

– Раса.

– Еще Раса? Вот так штука. А тебя как зовут?

– Микалоюс.

– Николка, значит!

– Николка! – звонко повторил мальчик.

Женщина взяла Лазорева за руку и повела на скотный двор. У нее было три коровы, два теленка. Три свиньи, лошадь, его – вторая.

– Хорошо, – сказал он Расе.

Она раскинула руки, потом свела их, соединила ладони и словно подала ему остров. Он улыбнулся. Она, чуть сдвинув брови, взяла его за руку и повела за холм, через дубняк. Здесь было поле, засеянное рожью. Десятины четыре. Потянула дальше и вывела к другому полю, чуть меньшему. Здесь была конопля и огород с капустой, морковью, свеклой, огурцами.

Потом они стояли над озером, и Раса была тиха, как озеро, и печальна, потому что не понимала, понравилось ли русскому ее хозяйство или нет.

Когда они вернулись, она положила перед ним сумку, которая досталась ему случайно. Он вытащил платья и отдал Расе. Раса вспыхнула радостью. Он развязал мешочек, выудил сережки попроще, серебряные с прозрачными камешками, и положил в ладошку маленькой Расе. Она тотчас сняла свои медные, и бриллианты длинными синими огнями засверкали на маленьких ее ушах. Большая Раса всплеснула руками. Заговорила что-то быстро, тревожно.

– Ничего, – сказал он, поняв свою промашку. – Вырастет – пригодятся.

Большой Расе он подарил нитку жемчуга. И тоже и обрадовал и перепугал.

– А тебе что? – спросил Лазорев Николку. – Тут три шапки. Одна твоя.

Кунья шапка досталась мальчику.

Раса-мать смотрела теперь на Лазорева с удивлением и страхом. А он был все тот же.

Поужинали вместе. Пришла пора спать ложиться. Раса-мать уложила детей на печи. Перекрестила, сама перекрестилась и, задув лучину, легла рядом с Андреем.

«Прости меня, Любаша, – сказал он, вздохнув долгим вздохом. – Не я искал, Божиим Промыслом все устроилось».

Только год спустя Андрей Лазорев узнал, что не один в мужья попал. Года за три до той резни, нечаянно вспыхнувшей в усадьбе, где была резиденция Золотаренко, местный властелин перевешал в селе двух из трех мужиков за то, что примкнули к казакам Хмельницкого. Вот почему, едва кончилось побоище, в усадьбу сбежались женщины и пособирали раненых. Два десятка русских мужиков, выхоженных литовскими женщинами, остались хозяйствовать на земле. И новый хозяин этой земли про ту прибыль помалкивал. Про женскую же сметливость – легенда ходила.

30 июня 1655 года на государев стан в селении Крапивне, в пятидесяти верстах от Вильны, прискакал сеунч воеводы Якова Куденетовича Черкасского: Божию милостью, а его, государевым, счастьем литовские гетманы Радзивилл и Гонсевский побиты в большом бою.

Бой шел с шестого часа дня до ночи, гетманы бежали за реку Вилию, а воеводы князь Яков Куденетович Черкасский с большим полком, князь Никита Иванович Одоевский с передовым полком, князь Борис Александрович Репнин со сторожевым полком, другой князь Черкасский с ертаульным полком да наказной гетман Иван Золотаренко с казаками подступили к стольному граду Великого княжества Литовского, к Вильне, да и взяли.

Сеунч прискакал до зари, но Ртищев по такому великому случаю разбудил государя.

– Ну, слава Богу! Слава Богу! – говорил государь, целуя на радостях всех, кто оказался рядом.

Комнатного своего стольника Ладыженского даже по голове погладил.

– Не зря Бог нас вчера надоумил грамоту о приготовлении для войска шубных кафтанов написать. Зимовать в Литве будем, за Березиною! Ты, Ладыженский, и поезжай к воеводе князю Якову Куденетовичу с государевым жалованным словом! В каждом полку будь и всех воевод о здравии спрашивай!

Башмакову тотчас было дано приказание отписать во все концы известие о победе, а сам государь сел за письма Никону, царице и сестрам. Пока писал, надумал, как ему, государю, входить в Вильну. Кликнул Ртищева, рассказал задуманное и, несмотря на поздний час, велел ему ехать в Вильну приготовить к торжеству войско и горожан.

Отслужив утрению, Алексей Михайлович со всем дворовым полком отправился в путь.

На первом же стане, верст через десять, написал царице и сестрам еще одно письмо: «Постояв под Вильною неделю для запасов, прося у Бога милости и надеясь на отца нашего великого государя святейшего Никона патриарха молитвы, пойдем к Оршаве».

24

– Каретка-то у тебя мягонькая. На колдобинах нутро не булькает. Эко! Эко! Как в зыбке! – Старичок-праведник радовался по-ребячески, и Алексей Михайлович, слушая этот веселый щебет, отдыхал душою. Действие совершалось для России великое: государь входил в поверженную столицу. После Казани то была первая столица, взятая с боя у неприятеля столь великого, что в прошлом царствии ни один прорицатель не посмел бы сей великий день возвестить. А вот, однако ж, свершилось!

– Церкви-то у них как боярские дома. Не будь крестов – не узнал бы.

– По-иному живут, – согласился Алексей Михайлович.

– По-иному! А люди такие же! – Старичок прижимался лицом к стеклу, разглядывая народ, глазеющий на царское торжественное шествие. – Одеты не по-нашему, а такие же!

Красные сукна и бархат устлали государев путь сразу же за городскими воротами перед Остробрамским костелом, прославленным чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери, одинаково почитаемой католиками и православными.

Впереди царя шел его старичок, одетый в рубище.

Алексей Михайлович, уступая первенство нищему, являл миру пример истинной земной мудрости. «Все под Богом ходим! – говорил Европе этот простецки наивный жест. – Не сила сломила силу, но Бог того пожелал! За правду наградил».

Приложившись к иконе, царь проследовал в собор Богородицы, построенный тверской княжной Июлианой, отданной замуж за великого князя Ольгерда. Почти двести лет собор этот был кафедральным для православной митрополии Литвы и Западной Руси. Здесь покоились останки Ольгерда и Июлианы.

Глядя на шестерку светло-гнедых коней, на золотую карету, полыхающую изнутри благородным темно-огненным бархатом, на шествие по дорогим тканям, на множество свиты, одетой по-царски, на царя в ризах, сиянием и великолепием не уступающих ризам Царя Небесного, горожане Вильны должны были сообразить, что пришла власть великая и вечная.

Сам государь, добравшись до резиденции, не об отдыхе побеспокоился, но сел писать очередное письмо: «Молитвами отца нашего и богомольца великого государя святейшего Никона, патриарха Московского и всея Великая и Малыя и Белыя России... мы взяли у Польши город Вильну, столицу Великого княжества Литовского, некогда принадлежавшие нашим предкам, равно мы взяли Белую Русь, и милостию Божиею мы сделались Великим Государем над Великим княжеством Литовским наших предков, и над Белою Русью, и над Волынью, и Подоліей...»

Желал себе похвалы государь не от стариков Романова или Морозова – та похвала была для него малая, – желал он похвалы от Никона, похвалы жданной, а потому и сладостной.

1 сентября от Никона пришло государю благословение на принятие титула великого князя Литовского.

И уже через день, 3 сентября 1655 года, был издан указ о новом полном титуле царя Московского.

– Иван-то Васильевич, глядя на нас, вельми, думаю, радуется, – сказал Алексей Михайлович Ртищеву в тихую минуту перед сном.

– А какой же это Иван Васильевич? – не понял Ртищев.

– Да тот, что Грозным звался, – ответил царь, улыбаясь. – Я-то ныне, чай, тоже Большая Гроза. Пришел воевать, а вроде бы уж и не с кем боле.

25

У царя война, у людей простых – жизнь. Во дни царского триумфа в далеком северном Кандалакшском монастыре произошло малое событие. С тремя духовными сыновьями бежал присланный на исправление непокорный патриаршей воле протопоп Иван Неронов.

Не в леса бежал, отсидеться в потайной норе. На лодке ушел, в море. Был ему ветер попутным, и пристал он к острову, под самые купола святой Соловецкой обители.

Тихо сиял светлый холодный августовский день.

Монах-вратник, впуская четырех странников, указал им корпус для простого люда. Неронов смиренно отправился, куда ему указали, но один из его духовных детей приотстал и шепнул вратнику:

– Это же Неронов! Игумену поди доложи.

Монах про Неронова не слышал, а потому не удивился и с места не стронулся. Перед самой уж вечерней, сообщая архимандриту прибывших и отбывших за день, вспомнил и Неронова.

– Неронов, говоришь?! – удивился игумен.

– Да вроде бы Неронов.

– И когда же он прибыл?

– После утрени.

Тут игумен цапнул вдруг вратника за космы, да и треснул лбом о стол.

– За что?! – взмолился вратник.

– За гордыню и глупость! Неронов-то небось в рубище, вот ты его и не узрел, крошечная твоя душа.

Ударили вдруг колокола по-праздничному. Архимандрит Илья с братией явился в палату для бедных гостей. Нашел Неронова, благословился у него и повел в храм.

После службы вся соловецкая братия обратилась к гостю своему, прося слово молвить. И сказал Неронов:

– Братия монахи, священники и все церковные чада! Завелись новые еретики, мучат православных христиан, которые поклоняются по отеческим преданиям. Также и слог перстов по своему умыслу скажут. А кто им непокорен – мучат, казнят, в дальние заточения посы-

лают. Аз, грешный, в Крестовой, перед собором всех властей, говорил таковы слова: «Подал равноапостольный благочестивый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси тебе, Никону патриарху, волю, и ты всякие ругания творишь, а государю сказываешь: “Я-де делаю по Евангелию и по отеческим преданиям!” И еще говорил ему и вам то же сказываю: «Придет время – сам с Москвы поскачешь, никем не гоним, токмо Божьим изволением!» Да и вы, коли о том станете молчать, всем вам пострадати! Не единым вам сие глаголю, но и всем, на Москве и на всех местах. За молчание всем – зле страдати! А во оном веце каков ответ дадим Владыке нашему истинному Христу и святым его страдальцам?

И замолчал. Слезы полились из глаз его. Архимандрит Илья подошел к Неронову и воскликнул:

– Страдальче, бием одолевай! Храбрый воине, подвизайся! – и поклонился трижды.

И вся братия поклонилась Никонову узнику.

Глава вторая

1

Враг язык, Бог да судьба взгромоздили Аввакума и его семейство на корабль мытарств, и поплыл тот корабль, гонимый царевым гневом, по морю испытаний.

Приказано было отвезти протопопа в Якутский острог на реку Лену.

На Петров день, попрощавшись с добрыми людьми и не позабыв плюнуть в сторону хором доносчика Ивана Струны, отправился Аввакум в дорогу, навстречу великой сибирской зиме.

Порадовала Первопрестольная. Поминал протопоп братьев за здоровье, а они уж больше полугода в яму чумную кинуты, неведомо где, когда. Два брата померли со всем семейством.

Неистовства творят патриарх да пособник его царь – наказание же приемлют их овцы. Разинул дьявол огненную пасть, а Никон и спихнул туда глупеньких, поверивших его сану.

– Вот, Марковна! Вот! – повторял Аввакум засевавшую в нем мысль. – Никон-то нас на погибель погнал в Сибирь, а вышло, что – на жизнь. Бог, Марковна, с нами! Верую, из нынешнего града, из Тобольска, извергает опять-таки на житие, прочь от Струны – напасти дьявольской.

– Что Бог ни делает – к лучшему, – согласилась Марковна. – Не к зверям, чай, везут. Якутский-то острог хоть и далеко, но построен не из-под кнута – по доброй воле.

Иван, старший сын, слушая родителей, осмелился спросить:

– Батюшка, неужто Москву и не увидим никогда?

– Москва – Никонов вертеп! Да избавит нас Бог от сей мерзости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.